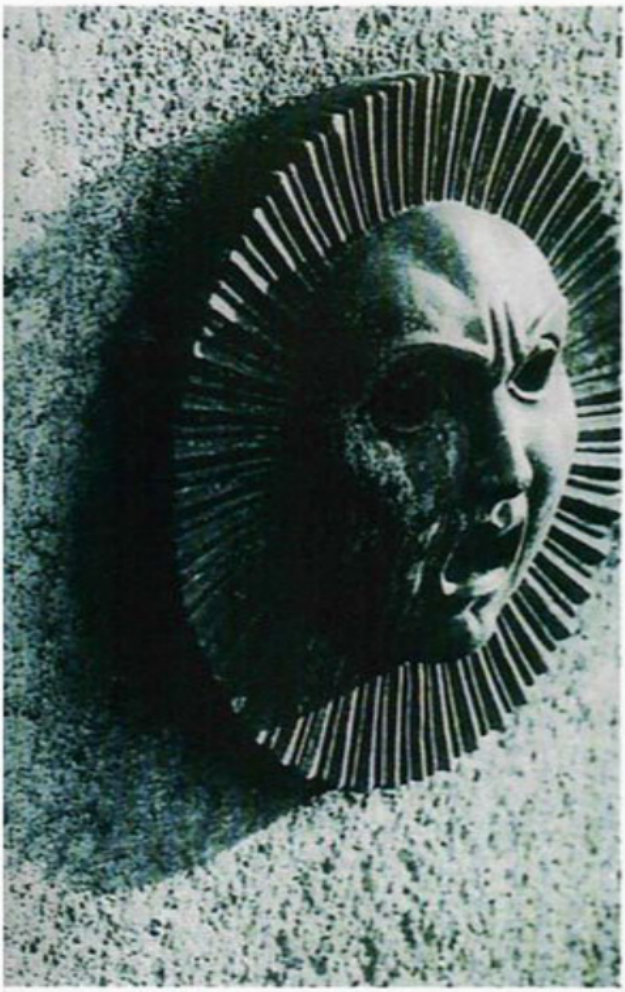
Диана Виньковецкая



Горб Аполлона

Три повести

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Три повести современной хорошей писательницы. Правдивые, добрые, написанные хорошим русским языком, без выкрутасов.

“Горб Аполлона” – блеск и трагедия художника, разочаровавшегося в социуме и в себе. “Записки из Вандервильского дома” – о русской “бабушке”, приехавшей в Америку в 70 лет, о её встречах с Америкой, с внуками-американцами и с любовью; “Частица неизбежности” – о любви как о взаимодействии мужского и женского начала.

- Диана Виньковецкая
  - ГОРБ АПОЛЛОНА
  - ЧАСТИЦА НЕИЗБЕЖНОСТИ
  - ВСТРЕЧА ЗА ЧЕРТОЙ
  - ЗАПИСКИ ИЗ ВАНДЕРВИЛЬСКОГО ДОМА

Диана Виньковецкая
Горб Аполлона: Три повести

ГОРБ АПОЛЛОНА

О, слишком дорого своё рожденье
приходится нам жизнью искупать!

В сумерках раздался неожиданный звонок в дверь. Решив, что пришли собирать на помощь: или умирающим китам, или деревьям, или гавани, или ещё кому-нибудь, я не торопилась открывать входную дверь. Я никогда не знаю, сколько кому давать, не отличаю обманщиков от правдашних просителей, не умею достойно отказывать и потому предпочитаю уклоняться от подобных просителей. Лёня откроет.

— Посмотри, кто к нам пришёл! — услышала я голос мужа.

Войдя в прихожую, я почти сталкиваюсь со своим старинным другом Игорем Дименто́м, которого не видела семь лет. Холодный ток пробежал от чёрного света, исходящего от всего его облика. Несколько секунд мы молча смотрим друг напротив друга. Он высокий, чуть— чуть сутулый, стоит в растерянной позе, и я — маленькая, без каблуков, босиком. Мне нужно встать на цыпочки, чтобы рассмотреть его лицо. Этот любимец женщин выглядит ещё красивым, хотя уже нет юношеского горделивого обаяния, на лице появились следы пере— утомлённости, нервозности, на щеках морщины, пронизывающий взгляд его коричнево–вишнёвых глаз угас и рот стал совсем подтянутым, узким. Как всегда, он элегантно одет, на нём тёмно–серый двубортный пиджак и светло–лиловая рубашка, его любимого стиля без воротничка, им придуманного «дизайна». Он глядит на меня усталыми глазами и с каким-то нервным любопытством. В его лице нет гармонии, оно неспокойное, через каждое мгновенье на нём пробивается измученная гримаса… Я не могу протянуть ему руки. Нас… Мелькает мысль: зачем он пришёл? За последние семь лет мы ни разу не виделись. Он уже давно отошёл от всех своих приятелей и друзей, или, как он выражался, «развёлся со всеми бывшими, говорящими на одном со мной языке», женился на японке, и ходили слухи, что он выстроил какой-то замок с итальянскими мраморными и малахитовыми каминами, фонарями, всяческими восточными ухищрениями. Ему всегда нравилось свою жизнь окружать тайнами, загадками, фантастическими элементами и разными небылицами, поэтому ничего нельзя было знать наверняка. Чего только он не выдумывал про себя, рассказывая всяческие несусветности и чего только на самом деле с ним не происходило! После формальных приветствий, муж ушёл к себе в кабинет, извинившись, что ему

срочно нужно сдавать проект, но через час другой он к нам присоединится. Гость сказал, что ему даже удобнее побыть со мной наедине. Мы ещё не успели пройти в комнату и растеряно стояли в прихожей, как на ходу он говорит:

— Я пришёл прощаться. Я не хочу больше тут жить.

— Где?

— На этом свете. Я приходил вчера, но без приглашения не мог появиться. Постоял за дверьми, послушал ваши голоса и твой смех… — И после паузы, приглушённым голосом, театрально, будто торопясь сразу уйти, продолжал:

— Я хочу сказать «прощай» моей бродячей жизни. Я хочу… как… Я… — запнулся и остановился на полуслове. Взгляд его несосредоточенный, голос неестественный, он сгорбливается и останавливается.

На мгновение я онемела, молчу, не зная как реагировать на услышанные слова: это его очередная маска, эстетическая игра? Мистификация, поза, небылица, ложь? «На этом свете», «не осмелился», «не хочу жить» — отпечатываются во мне фразы, которые я не могу сопоставить с тем, что я слышала о нём последнее время. Я вижу, как он наблюдает за моей реакцией. Мне неловко и холодно от ситуации. Я стараюсь отогнать от себя услышанные фразы и проносящиеся мысли.

Нас многое разделило, он давно убил в себе прошлое время и не хотел иметь свидетелей своих «взлётов и падений», и поэтому мы так давно не встречались, я не видела ни его японскую жену, ни японского сына, ни квартиры, ни замков, слышала только разные истории. Его тяготили воспоминания, а я была свидетелем той жизни, которая для него утратила смысл. Он скрывал своё происхождение, возраст, год отъезда из России, чтобы побороть власть времени, чтобы забыть о своём прошлом, о тех временах, когда он взлетал, внушая невероятную веру в его возможности. Я была одной из тех, кто восхищался его искрящимся талантом — космическими взлётами, его театром, и я же была свидетелем его «падений» преступным предательством себя и своего таланта. Всю палитру своей вечности он разряжал на сценические эффекты в застолье. Он нуждался в зрителях, награждающих его смехом, овациями, без которых не мог обходиться, попадал в зависимое положение от публики и, становясь её рабом, начинал ненавидеть и себя, и всех окружающих. Он страдал от несоответствия своих желаний и возможностей удовлетворить их и относился к миру, как к виновнику своих страданий. И я была частью отвергнутого им мира. И хоть я о нём неоднократно думала, писала ему, дружила, но в последнее время всё реже и реже вспоминала о его существовании. Но какие бывают совпадения! Только вчера,

разбирая архивы моего покойного мужа Якова, среди бумаг и стопок я увидела большую папку «Димент», а сегодня услышала, что он вчера вечером бродил вокруг нашего дома. Произошло одно из совпадений, пронизывающих и удивляющих наше существование и наводящих на размышления о таинственности и загадочности нашей психики, о «флюидах» и архетипах.

— Может быть, ты послушаешь меня? Продолжать мне оставаться? — говорит он с обидой в голосе, обращая мои мысли на происходящее.

— Давай пройдём в гостиную, сядем, я принесу стаканы, бутылку вина, и поговорим. Он проследовал за мной. Несколько минут проходит в молчании.

Гость быстрым взором окидывает стену, и его взгляд задерживается над камином напротив дивана, где на самом видном месте в пору наших встреч висели его картины. Теперь их там нет. Снисходительно–ироничная усмешка мелькает на его лице. Много смыслов можно было прочесть в этой усмешке. «Ну вот мол, все — предатели! И ты такая же, как и все».

Эти картины–лица он рисовал после трагической смерти моего мужа Якова, обстоятельства гибели которого я сейчас не буду описывать, и эти рисунки были его и моей памятью о Якове, символизируя нашу дружбу.

«А картин-то уже нет. — Всё забыла!».

В те печальные мои дни Игорь прилетел в Хьюстон на похороны Якова из Англии, где в Лондоне ставил какой-то спектакль. Его приезд был поддержкой моих сил сопротивления отчаянию, источником магической силы. Тогда в несчастии он утешал меня всяческими способами, словами и даже шутками, разыгрывал «театр», взяв всю режиссуру на себя. В то время его слова и действия для меня имели значение молитвы, были целебным бальзамом.

В момент, когда последний щебень вместе с землёй упал на Яшин холм, когда могила была уже закрыта, при проливном дожде и небе, покрытом тучами, посреди мёртвой тишины он, повинуясь неясным импульсам, издал пронзительный и протяжный крик отчаяния, переходящий в высочайший накал страсти, уходящий в небеса. Крик был сладостный и дикий, пронизывающий и показывающий нам, самым близким друзьям Якова, что исступлённым стоном заканчивается жизнь, как и соитие. В его таинственном соло всё сплелось: призыв любви и страсти, отчаяния и сладострастия, жизни и смерти.

В эти секунды каждый из нас улетел в запредельное… по ту сторону… ушёл от всех оков жизни, закрыл глаза на трагичность существования и ужасы ночи. Родилось внезапное общее

опьяняющее чувство, неизвестный сон, в который Игорь погрузил нас, чтобы мы посмотрели обратно на жизнь, как на вожделение. Два существа, сливаясь в блаженстве для высшей радости, ужасаются пробуждению. Мы все снова увидели, что радость соединения двух людей — сладостный союз и отчаянье завершения акта любви похожи на всю жизнь, не различаясь по времени перед вечностью, и что в акте любви заключается элемент аналогичный смерти. В эти мгновения смерть явилась нам не как предмет ужаса, а как естественное виденье. И никто из нас не должен отчаиваться, а, преодолевая страх безысходности, наслаждаться жизнью. Вопреки.

А когда всё стихло, все хранили торжественное молчание, ставшее просветлённым, сосредоточенным, одухотворённым.

Несколько часов спустя, когда я тихо сидела в гостиной, смотрела на Яшины картины и плакала, он подошёл ко мне и, взяв мою ладонь в свою, подогнув колени и склонив голову, говорил и говорил прекрасные слова утешения: «Яков, мой великий друг, всю жизнь стремился к чистому свету и обрёл его. Посмотри на его картины, на свет, идущий изнутри сквозь сплетение чёрных линий, сквозь паутину жизни, на возникающие из хаоса мира фигуры. Посмотри! Мне больно без него в этом уменьшающемся мире, в сокращающемся для меня времени. Я мог с Яковом часами говорить о возвышенном, но он слишком хорошо относился к людям, к этим лимитивно–образованным дикарям, и попал в эксоновскую яму со скорпионами. Прометей за свою чрезмерную любовь к человекообразным подвергся терзаниям коршунов, так и Яков, как Прометей… Посмотри, коршуны вокруг кружат! А ты — художница жизни. Ты должна жить. Я буду молиться за тебя и за твоих сыновей. Зови меня всегда, и я буду рассказывать тебе сказки. Никто тебя так не рассмешит как я, ты будешь смеяться пригоршнями. Заговорю лаем Руслана, как Яков хотел, чтобы мы прорубили тропинку в американо–таёжных завалах к нашему родному концлагерю. (Яков предлагал ему поставить фильм «Верный Руслан») Давай, я назову все неназванные Яковом картины смешными именами, например, эту… — и, показывая на фиолетовую абстрактную картину, называет: «Мир–ра ебётся со слоном».

И всегда потом при взгляде на эту картину с растекающейся нежной фиолетовой поверхностью я улыбалась.

На второй день пребывания в моём траурном доме, когда иногородние Яшины друзья стали разъезжаться, Игорь вдруг сам принялся рисовать картины. При палящем техасском зное, расположившись в тени эвкалипта, растущего в нашем дворе, взяв бумагу, холсты, краски, цветные карандаши в Яшиной

мастерской, он как одержимый безумной страстью, все свои чувства стал отдавать краскам. Он не хотел ни есть, ни пить, ни общаться с людьми и, погрузившись в отрешённое состояние, разговаривал только с красками, будто мистифицировал.

Бесчисленные точки разных цветов и размеров падали на бумагу и, сгущаясь и рассеиваясь, образовывали загадочные лица–маски. Он выводил эти точки, точку за точкой, чёрточку за чёрточкой, линию за линией, и становился как бы медиумом, через которого Первохудожник доносил радости и печали непрерывно меняющегося мира. Из хаоса точек неожиданно возникало лицо, как чистое состояние — или страдания, или созерцания, или умиротворения, или гнева. Одно лицо было из сплетений голубых и розовых тончайших точек, как созданное из нежнейшего вещества и будто освещённое изнутри. Другое — мужское мудрое, волевое лицо… холодное и грозное. Казалось, в рисунки Игорь вкладывал страстное удовольствие, и лица, им нарисованные, были красивыми и таинственными. В этих картинах не было показа отвратительных внутренностей, какие он видел в людях в повседневной жизни, всегда улавливая плохое, изнанку. Нарисованные любовью и печалью, вдохновенные, эти картины–лица оставались в чисто эстетической сфере и прикасались к красоте. Восхищение публики его картинами Игорь принимал с ироничной снисходительностью. Красавица Таня, учёный— термодинамик, одна из его поклонниц, от любви с которой, как он шутил, «может родиться только формула», и «вместо украшений меж грудей у неё висит маленький компьютер», восторгалась его картинами. На её восхитительно–восторженные отзывы он возражал, соединяя кокетство с правдой.

— Это всё ерунда… балуюсь. Я не художник. Вот Тюльпанов — художник! Его картины примиряют меня с жизнью.

— Вы, кажется, учились вместе с Тюльпановым у Акимова?

— Да, мы вместе учились. Я намного его моложе, на десять лет.

— Как же так?!

— Я был вундеркинд, а он переросток.

Чистым художником он не хотел себя считать. И на все вопросы о его живописных талантах он отвечал:

— Я давненько ненавижу рисование декораций. Только в режиссуре моё призвание и любовь. Я сейчас готовлю в Англии представление… Меня пригласили в театр Шекспира. Я работаю с труппой в двести пятьдесят человек. Причём у меня в группе люди из аристократических семей, сыновья лордов.

— Вы так хорошо владеете английским?

— Он мной владеет, я лорда обучаю русским выражениям и через них усваиваю английский язык: «Кто знает? — «Ху в ноуз» Как запомнить английское слово «около»? Просто — «ебаут». Каждый день — «еврей в дей»… И начинал «небоскрёбность слово–излияний» — эпатировать и смешить публику.

Потребность скрываться, играть, притворяться казались ему сильнее, чем быть самим собою.

«Игорь, не поддавайся искушению! — говорил ему Яков во времена нашей юности. — Всё должно быть сознательным, чтобы быть прекрасным! Кому много дано, с того много спросится. Талант нагружает задачи, не предавайся сумасбродству, не растрачивай время». Яков любил его. Любил его спонтанный и авантюрный характер, восхищался его уменьем очаровывать женщин, но видел опасность в вожделениях Игоря, которые отвлекают, не оборачиваясь творчеством. «Сладострастие само по себе ничего не создаёт, много тому примеров. Где же ты будешь черпать истоки творчества? Из любви должен создаваться миф». Яков дал ему прочесть книгу Томаса Манна «Признания авантюриста Феликса Круля». Игорь шутил, что «старается постигать стопроцентную Яшину мудрость».

Прочитал ли он «Признания»?

Тех картин–лиц уже нет на стене, вместо них висят картины других художников.

— Твои мы перевесили в комнату для гостей, — говорю я в ответ на его усмешку, остановившуюся на стене. И чтобы забыть, что он сказал, отогнать от себя тревожные мысли, уйти от разговора о жизни и смерти, не слушать его признания и спрятать своё беспокойство смешанное с недоверием, продолжаю:

— Теперь у нас тут «женская стена. Эта груша нарисована Олей Антоновой…, а это — натюрморт другой художницы, Тони Козловой. Иронично–снисходительное выражение исчезает с его лица, сменяясь мучительной, трагической гримасой. И низким, будто идущим из преисподни голосом, он прерывает меня:

— Мне уже всё равно. Мне так плохо, что я… отчаялся.

Он слегка склоняет голову набок, и на лице опять появляется страдальческое выражение.

— Что случилось? Объясни. Я так давно тебя не видела.

— Что сказать мне о жизни? «Как ты жил в эти годы? — Как буква «г» в ого» — отвечает он стихами поэта.

Я знала, что скрывается за столь долгим его отсутствием и нежеланием нас видеть.

— Все предали, всё отобрали… Я один. У меня нет ничего… я пришёл к ничему… И всё моё движение оказалось в никуда…

Выйдя из печального оцепенения, спрашиваю, зная заранее

ответ:

— Твои ожидания поссорились с неожиданиями? Так мне думается.

— Кажется, насмерть. Всё и все опротивели. Я хочу, как Яков, закончить анархию своего бытия. Присоединиться к…

Он отрешённо посмотрел куда-то в потолок, немое и сладостное выражение застыло на его губах.

— Говорить мне это не нужно. И, хотя мои раны уже зажили, но не продолжай. Я пережила одну трагедию и сама чуть не рассорилась с жизнью. Мне потребовалось много времени, чтобы отстранённо писать и думать, соединить радость и страдание. Помнишь, ты мне сказал тогда, что «Яков дал тебе пожить». И, правда, только Яшина смерть разбудила во мне силы противодействия и привела меня в сознание, только глубочайшие страдания открыли мне глаза — так поздно пришла зрелость.

Я вспоминала о тебе вчера, когда ты бродил вокруг дома. Вот уже два месяца я готовлю выставку Яшиных картин в России, разбираю Яшин архив. На днях мне попалась среди папок и твоя — «Димент», и вчера вечером я её разглядывала. И чего только в ней не хранится! Там собраны твои фотографии с разными знаменитостями с Пикассо, с японским императором, с Барбарой Страйзэнд, Натали Вуд, с кем только ты не фотографировался! Афиши твоих спектаклей, «Мистерия Буфф», снимки декораций в твоём оформлении, приглашения на выставки картин, записки, твои открытки и письма из всех стран, копии писем к тебе, рисунки, отзывы.

Лицо его преображается, исчезает сладостнострадальческое, усталое выражение, сменяясь заинтересованным, живым, в глазах появляется интерес, он оживает, у него возникает желание посмотреть содержимое папки:

— Ну, что же, давай переберём эти собрания… одно за другим. Поглядим, как всё повторяется. Может, я ещё не совсем погиб?

Как у него всё смешано, запутано! Как он умеет играть и притворяться? Я тоже хочу отвлечься и показать ему содержимое, быстро иду в свой маленький кабинет, достаю зеленую папку «Димент» и думаю: ему, конечно, не понравится, как написана его фамилия на титульном листе папки — теперь он своё имя украсил дворянской приставкой и стал — Ди Монт. Он везде и всюду писал своё новое имя, всех поправлял и по–настоящему злился, если кто-то именовал его по–старому. На дощечке золотыми буквами написал он свой новый графский вензель и повесил на входной двери, подпёртой какими-то ломами и немыслимыми защитными сооружениями, потому как его старая

квартира располагалась в негритянско–разночинном квартале. Барон Ди Монт добился своего: надпись привлекала внимание грабителей заглянуть внутрь квартиры важного вельможи, и заинтересованные время от времени наведывались. После их визитов барон Игорь шутил, что «проклятые сиреневые люди берут только электронику, оскорбляя меня как художника, не прихватывая ни одной из моих картин!»

Папка лежит перед нами. На его недовольный вид по поводу написания его фамилии я говорю:

— Эта папка подписана ещё Яшей, который тогда не знал, что ты из испанских баронов.

— Но ты ведь знаешь, что мой отец был Астелло Ди Монт, и могла бы изменить мою фамилию.

— Более того, я знаю, что твой отец был психиатром Сталина, — иронизирую я, вспоминая как он придумывал всяческие легенды, думая найти ценность — в фамилиях, знакомствах, родословных. Точно знать, кем в данный момент представляется его отец, жена, дочка, сколько у него отцов, жён, детей, — никогда нельзя было. Он подавлял таким количеством выдумок про себя, про свои дела и успехи, что никто ничего не мог знать наверняка, и сам он забывал, и концы с концами его легенд часто разлетались в разные стороны.

Садимся за стол, изящным жестом Игорь открывает бутылку вина и наливает две рюмки. Я раскрываю папку, и мы начинаем рассматривать хранящееся в ней содержимое, которое проводит перед нами картины его жизни. Чем он мог быть и чем он не был.

Он берёт в руки толстое письмо, неожиданным образом оказавшееся в Яшином архиве, — это его письмо к отцу из Америки, ходившее по рукам оставшихся в России друзей. Письмо было одним из самых ранних, дающих первые сведения о том, как и что «там» — в Америке, куда мы собирались. Его привезла Регина, старинная приятельница Игоря и его отца, зная, что я собираюсь писать книгу про Америку, и отдала нам его в архив. Письмо было на двадцати семи страницах, и хотя оно пришло из Америки, но могло быть из любой другой страны, — в нём выяснялись отношения с оставшимися, к которым он «намертво приварён», и передавались первые ощущения себя в новой среде. Он заглядывает в это письмо и читает понравившееся предложение:

«Трачу себя не на будущее, а только на сегодняшнее, проходящее…» — и комментирует:

— Так и получилось! Всего себя растратил, спрашивается перед кем?! Перед этими монстрами! — восклицает он.

— Ты сам этого хотел. Ты хотел нравиться женщинам,

публике, хотел очаровывать, придумывать, царить, смешить.

— И вот теперь расплачиваюсь, — мрачно произносит он и пролистывает письмо, зачитывая оттуда отдельные строчки и предложения. Я сижу и слушаю.

— Что дальше я писал?!

«Прокладываю пути среди мириада человеческих теней, живущих будто бы в другом измерении, которые никак не мешают твоему движению, но и не направляют его, и так или иначе — движение твоё без направления, по кругу в никуда…»

— Послушай, как хорошо я понимал всё ещё тогда. Вот и приехал «в никуда!» и кругом «никто»!

— Да, но ты перед этим «никто» столько сил растрачивал и растрачиваешь. Яша вспоминал о своём вулканическом ощущении, когда он приехал к тебе «в никуда», в Лос–Анджелес помочь тебе разобраться с твоим продюсером Дэвидом. «Никто», которым ты наговорил такое про себя, обступали Яшу и допытывали: правда ли, что ты спрыгнул с парашютом с самолёта, прилетев на фестиваль в Канны из Кремля? Что ты был в России несметно богат, жил во дворце, участвовал в создании секретных фильмов, что ты происходишь из испанских детей, что ты холост и в тайне католик… Все жаждали услышать подтверждений.

— Я тогда Яше написал целую инструкцию на обшлагах, которую он должен был запомнить и повторять, но он ничего не мог ни прочесть, ни придумать и пришлось сказать, что он забывчивый профессор–дурачок. Я — артист, а он — технический работник. Но мой несветлый образ в сравнении с Дэвидом и его партнёром светится, как нимб. Разве мои фантастические мистификации могут сравниться с поносным нутром, обманом, пропитывающим всю эту кино–графическую мразь. Эти монстры заработали миллионы, а мне заплатили двадцать тысяч, как, мол, обещали. Я до посинения эксплуатировался, монтировал сотни метров глупейшей плёнки, фантазировал и скомбинировал им этот ночной боевик, а меня даже в титрах не было! Так меня надули мудрые продюсеры! И я — обманщик?!

— Да, Яша тоже был поражён, как тебя, такого мастера просеивания людей через твои беспощадные сарказмы, могли так провести! Они воспользовались твоим желанием быть выше денег, — не заключать контракта, всё по— дружески, деловые замыслы, дебри бизнесовских знаний нас не интересуют. Ты их внешне обманывал, барон, сын лейтенанта Шмидта, а они тебя по глубокому, по правде, все денежки себе, а тебе — графский титул.

— А вот… ещё один отрывок, который я хочу тебе прочесть.

«Перемещаясь окольными путями по этой вселенной, почти

бессловесный Димент (Ди Монт! — поправляет он своё старое обращение к себе в третьем лице), переполненный тоскою по таинствам российской взаимосцеплённости, в этом разрежённом климате супериндивидуализма, чувствует себя пронзительно одиноко и играет пустые, а то и лживые роли, бьётся лбом о зеркальные витрины лунных городов… И находит совсем незнакомого себе «Я», другого, с искривляющим силуэт конквистадора горбом, который теперь выглядит необходимым добавлением к старому образу ленинградского «Аполлона».

— Не окрылённый, а горбатый Аполлон, — грустно, приглушённо комментирует он. — Переломали хребет Аполлону.

Я вспоминаю своё первое знакомство с «ленинградским Аполлоном», окружённом, по его словам, «поэтическими добавлениями в виде крылышек…», которые назывались всякими прекрасными именами: Лилями, Сонями, Катями, Анями, Сашами, Ирами… до бесконечности.

Аполлон появился у нас на Гражданке вместе с другим Аполлоном — художником Мишей Кулаковым, которого он обожал, и стайкой прелестных девочек. Я всего несколько месяцев как была замужем за Яшей и, «после долгих и упорных боёв» за статус жены, наслаждалась своей любовью, своим замужеством. Аполлоны внесли в мою жизнь некоторую тревогу погоней за «поэтическими добавлениями», — я боялась, вдруг и Яша соблазнится «крылышками», и отнеслась к «Аполлонам с крылышками» без особой симпатии, хотя и с любопытством: Почему они так привлекали к себе эти стайки? Все видели, как из трамвая Аполлон Димент выходил обвешанный записками. Нежные пальчики записывали свои телефоны на бумажках, на обшлагах, на носовых платках, на сигаретных пачках, на трамвайных билетиках. Аполлон выходил, сопровождаемый восторженными взглядами.

В петлице — роза, по всем карманам — слова любви.

Женщины на него обращали внимание в автобусе, на улице, в магазине — везде, где только он ни появлялся. Дело было не только в его красивой внешности и в элегантности, а ещё и в очаровывающем шарме обвораживающей игры, которой он владел, как средневековый рыцарь рапирой, конквистадор. «Вы оказались единственной, способной понять душу одинокого… Вы — живая вода, источник моего вдохновения! Я, как рыбина на суше, загораю в предпоследнем удушье без вашей любви!» И — целая стая крылышек и живой воды.

Моя мысль возвращается к настоящему. Вижу, как бывший ленинградский Аполлон сидит, без крылышек, сгорбленный, разбитый, с переломанным хребтом, всеми брошенный, всеми

преданный и всеми покинутый. Почему? Куда делись все красавицы? Куда исчезли все поклонницы? «О женщины, ведь он для каждой был весь — безумие и пыл…»

Он листает, разглядывает свидетельства своего прошлого, собранного в этих листочках.

— Посмотри, я совсем забыл, что я развлекался постановкой «капустника» у вас в университете.

А я хорошо помнила, как мы готовили это представление. Вот маленький пригласительный билет на юбилей кафедры геоморфологии географического факультета ЛГУ, после разных выступлений будет спектакль–капустник, поставленный И. Диментом.

Я тогда училась в аспирантуре, и меня попросил наш зав. кафедрой С. С. Шульц придумать что–нибудь оригинальное для празднования кафедрального юбилея. И я придумала, преодолев свои опасения вместе с неприязнью, — обратилась к Аполлону–Дименту, закончившему театральный институт, чтобы он помог поставить несколько сценок из студенческой жизни, которые я и мой сокурсник Гарик Кожухов написали и даже собрали группу студентов факультета, («артистов»), желающих разыграть эти произведения. Мы выхлопотали разрешение пригласить кого-нибудь из театральных людей, чтобы всё-таки было более или менее профессионально, нам дали согласие и даже обещали заплатить приглашённому руководителю.

Первую встречу «артистов» с «режиссёром» мы назначили в большой аудитории факультета, находившегося в это время в здании бывшего Смольнинского института благородных девиц. Я пришла первая, волновалась и нервно ждала, как всё будет происходить. Открыв аудиторию — зал с колоннами и даже с винтовой лестницей, подошла к окну… Гигантские окна с белыми переплётами выходили на лужайку, окружённую тенистыми липами, куда не долетал шум с улицы. Здесь ещё недавно, вдали от житейского опыта прогуливались и сидели на скамейках, опоясывающих деревья, благородные девицы. Сейчас сад заброшен, пуст и закрыт — житейский опыт охраняет деревья и благородные идеалы от публики. Виднеется колокольня, но колокола уже давно не звонят, места для крестов пусты и обрывки канатов свисают прямо на крышу. Тихонько входили артисты и садились на стулья. В громадном пространстве зала собравшаяся «труппа» выглядит инородным телом, непонятного назначения, хоть и в своей аудитории, но не по своему делу. Здесь привыкли слушать лекции, а не готовить представления неизвестно чего и неизвестно с кем.

Как режиссёр справится с нашими артистами, скованными,

правильными девочками и мальчиками? А может, и вообще он не придёт? Эти свободные художники такие ненадёжные, и зачем я со всем этим связалась?

Вдруг издали послышался поток словоизвержений: «Где тут зал, сцена, артисты?!», и появляется Димент. На этот раз без «поэтических добавлений в виде крылышек», а с незнакомым мне парнем артистичного вида, правда, не таким красивым, как Аполлон. Своим художественным обликом — на Дименте чёрный вельветовый берет и длинные волосы, а на парне бархатные брюки, как на Санчо Пансо, и налысо стриженая голова, — и своим свободным появлением они резко оттеняют неказистый и академический вид наших артистов. Они явились будто из другого мира.

— Добрый день, мои студенты! Я — Игорь Димент, а это Гена Селектор — мой художник и ассистент, — торжественным и бархатным голосом произносит Димент.

Все молчат.

— Дина, это что, твои артисты? — спрашивает меня режиссёр и обводит всех ироничным взглядом.

— Да, — отвечаю я и врастаю в свой стул, съёживаюсь, и мне кажется, что и вся «труппа» совсем исчезла под сидениями.

— Скажите каждый своё имя. Как вас зовут? — выбрав миловидную девушку, спрашивает Аполлон.

— Таня Петрова… — едва слышно бормочет девочка с кружочками из косичек, уложенных над ушами.

— А вас? — «Слава Ануфриев», «Вера».

— Покажите, что вы написали для постановки? — обращается ко мне Игорь. Я отдаю ему наш «сценарий». Он берёт эти маленькие листочки, встаёт в позу и начинает читать:

«Тесним географический Олимп гирляндой синклиналей и долин, Сегодня съезд у самых облаков геоморфологических Богов!»

После паузы восклицает:

— Ничего себе Боги! Неговорящие! Сейчас олимпийские Боги раскроют корни волшебного Олимпа и все вместе произнесут слово — «жопа»!

Я сижу ни жива, ни мертва. Не знаю, что и делать. Стыдно. Из аспирантуры выгонят. И до этого все сидели в напряжении, а после, кажется, совсем онемели.

Игорь повторяет снова:

— Боги, произносите! Бог Прометей! Орфей! Афродита! Богиня Та — тьяна!… — обращается он, подходя к каждому, то понижая голос до пронзительного шепота, то повышая до сопрано. — Вы — олимпийские боги, вы должны творить!

«Сначала было слово…»

Кто-то поспешно пробормотал: «жопа». Женский или мужской голос, я даже не поняла, преодолел стыд и пространство. Первый звук вознёсся к аркам и затих.

— Громче! Громче! И все вместе! — командует Игорь, а его ассистент начинает дирижировать. Ещё кто-то из артистов вставляет своё слово.

— Облачимся в броню завоёванной нами позиции! Замерев с минуту в стороне, как зритель, которому разрешили быть свидетелем, я не свожу взора с портрета Л. С. Берга, висевшего над кафедрой, опускаю взгляд на стулья и вдруг слышу, как по зданию благородных девиц понеслось слово совсем не благородного происхождения. Стрельчатые своды и окна ответили тем же звуком, который, отражаясь эхом от толстых стен монастыря и внутренних покоев, полетел в сад и смешался с шорохом осенних листьев. И только одна колокольня, по–прежнему, молчала.

— Вот теперь начнём! — торжественно произносит Игорь.

«Диссертация моя, ты как книжка хлебная.

Унижался, как свинья, — жизнь теперь безбедная!»

— Эти бездарные и невежливые слова — заменим!… как гроза весенняя… То боги, то свиньи. — Он поднимает голову кверху и простирает руки: — «Вы, блаженнейшие небеса!», замирает и вдруг переносит весь магически парящий образ бога на пол, опускается на четвереньки и хрюкает. — Давайте все вместе прохрюкаем предложение, что мы боги!

Расслабленные улыбки замелькали на лицах студентов, превращавшихся в артистов, желающих создавать, играть, преобразовываться. Я увидела Игоря в работе.

От нашего сценария остались одни рожки.

Через два месяца «капустник» огласил стены бывшего института благородных девиц. Все собравшиеся смеялись и хлопали, а в конце «капустника» публика поднялась со своих мест и устроила овацию, требовала появления артистов, сценаристов и режиссёра. Администрации спектакль не понравился вольными отступлениями, и они не захотели заплатить Игорю за работу. Я была расстроена и чуть не плакала, но Игорь утешал меня, говоря, что не ради денег делал он это представление, а был счастлив испробовать свои силы. Я оценила его бескорыстие. Надо сказать, что он всегда восхищал меня своей щедростью. И если у начальства наш спектакль не вызвал восторга, то у студентов он надолго остался в памяти, а наши артисты стали ходить за Диментом толпой и на его репетиции, и на все его спектакли. Одновременно с нашим «капустником» он ставил в

театре «Эрмитаж» другой спектакль, а вот и афиша этого спектакля — «Фантазио». Альфред де Мюссе.

В императорском театре «Эрмитаж» Борис Понизовский, сотрудник Эрмитажа и ленинградский интеллектуал, придумал вместе с Диментом ставить спектакли как сопровождение выставок, проходивших в это время в музее. Театральные постановки должны стать как бы комментарием к жизни того времени, той эпохи, которая отражена в картинах. В период постановки «Фантазио» в Эрмитаже проходила выставка художников романтизма, который разрушил старые классические формы и обратился к дотоле опасной и «низменной» стороне человека — к его эмоциям. «В груди и сердце заключается таинственный источник романтизма». Свобода и искренность вдохновения составляли главное требование романтического искусства. Романтизм являлся в эпохи, только что вырвавшиеся из какого-нибудь морального переворота, в переходные моменты сознания, и потому Димент и Понизовский использовали пьесу вольнодумца Мюссе, интерпретировав по–своему и связав её с современностью.

Действие происходит в несуществующем королевстве, в несуществующем городе, вне времени, и всё происходит тут. Пролог: на сцену выходит человек и речитативом произносит, что случилось до сих пор, и что случится в течение пьесы. Игорь берёт этот приём из древнегреческих трагедий, у Еврипида, когда действие трагедии не основывалось на возбуждающем неведении, что произойдёт теперь и после, а зрители захватывались только страстью и риторикой. Декорации условны. Кулисы, ограничивающие сцену, задрапированы, будто бы они бесконечны. Они объёмны. Одежда действующих лиц : будто бы она есть и в то же время её нет. Спектакль был «в пятимерном измерении», — ритм музыки, динамика и гармония рисунка на сцене. Сцены — как картины, занавесы — как рамы.

Принц приехал в замок к принцессе делать предложение, чтобы не возникла между королевствами война. Отдёргивается завеса… и по пустой сцене ритмично–крадучись идёт принц. Вот из-за одной кулисы высунулась рука, сдавленный крик в маленькой паузе музыки, принц вздрогнул, из-за другой кулисы возникает фонарь, и белый пучок света ослепляет принца, он закрывает глаза рукой. Идёт дальше. Балконы, своды, внутренние флигели, залы. Латы, скрещенные знамёна. Кажется, он поднимается по винтовой лестнице в башне замка. Тайные коридоры. К музыке примешивается шёпот многочисленной толпы, как перебор струн. Вдруг из-за серой кулисы при приближении принца покатилась голова… Казнь. Из-за

драпированных кулис появляются тени, как заговорщики, они скрещиваются, шушукаются… Шептание во всех углах и закоулках. Неожиданные опасности, заговоры, злые смуты у подданных. А ведь на сцене нет ничего, — нет, не ничего, а на сцене всегда рисунок, будто на картине. Вот полулежит принцесса, будто на картине Шарпеньтье «Меланхолия», вот картины Гойи «Капризы» — испанский двор. Димент в своей постановке спектакля использовал не только символику уст, лица, слова, но символическую силу музыки, ритм, динамику. Синхронизированная музыка и движения. Из высочайшей радости вдруг звучит крик стона, дикий хохот, переходящий в отчаяние. Диалоги просты, прозрачны и красивы. Последняя фраза: «Принц Монтуанский уехал, а я его так и не видела!?» сопровождается идущим из-под расписанного потолка хохотом, распадающимся на отдельные смешки, внезапно замирающие, и спектакль заканчивается.

Я ничего подобного до сих пор не видела… От спектаклей «с жизнью» на сцене я давно отвернулась: трудно слушать «артистические придыхания», растянутую скуку с воспитанием для народа. В этом спектакле ничего не напоминало о таком представлении, он пробудил воспоминание об античной трагедии и театре, как обители чудес. Однако этот спектакль быстро был снят, и удивительно, что его запретила не партийная идеологическая элита, а актёрский профсоюз, запретивший актёрам после работы в основном театре принимать участие в свободных спектаклях — заниматься вольной самодеятельностью. Чего только зависть не делает!

Он сидит опустошённый, больной, заблудший, встаёт и ходит взад и вперёд по комнате, и я уже не задаю ему вопрос о театре. Можно ли понять, почему он не поставил тут, в Бостоне, никакого спектакля?! Я знаю его ответ, я знаю, как он изощрённо изобретал всяческие предлоги для ничегонеделания. Театральное представление из эмигрантской публики он для себя не рассматривал, презирая эмигрантов,… «они, как мандавошки!» И чем Голливуд не сборище эмигрантов? «Почему бы тебе не создать обычный «эмигрантский» театр, такой как ты поставил по приезде в Лос–Анджелесе?» — иногда спрашивала я Игоря. Во время визита в Бостон директора Русского института Джона Боулта, рассматривавшего возможности создать русский театр, я представила ему Димента — вот, мол, есть и руководитель. Как Игорь был возмущён! Чего только он не наговорил мне! Как я могу такое предлагать ему! Такую низкую позицию, так унижать его. «Да если только я захочу, то сто театров всего мира примут мои услуги! Королевские театры меня хотят, а ты тут со

своими…» и употребил неприличное выражение. Как он одержим своей тенью и вредит сам себе!

Сейчас я хочу в памяти восстановить те воспоминания, над которыми можно посмеяться, успокоить его совесть.

Вот иллюстрации Игоря к сказке «Чёрная курица» Погорельского. Маленький мальчик в таинственном царстве среди высоких деревьев, гигантской травы и вычурных замков. Золотая паутина опоясывает траву. Гигантские муравьи и мухи с пушистыми лапками среди лопухов, вьюнов, осоки. Вот крапива и подорожник, на котором сидит голубая, переливающая всеми цветами стрекоза. Мир отношений. Картины как травяная копия жизни.

— Я нарисовал их ещё в институте и они послужили мне входным билетом при поступлении на высшие режиссёрские курсы, — говорит Игорь, глядя на эти фантастические картинки.

— Твой рассказ я несколько раз сама пересказывала, добавляя свои подробности, и выросла целая легенда о твоём поступлении.

В те времена, когда ещё везде был тон страх, перемешанный с блатом и коррупцией, вдруг за год до поступления Игоря на московские курсы кинорежиссеров и сценаристов немного разгребли тайные ходы проникновения в эти привилегированные кино— режиссёрские слои, и открылись маленькие лазейки для простых и бедных талантливых людей. Предварительная запись на сдачу экзаменов проходила под девизом — от каждой республики по представителю, от каждой национальности по половинке, исключая одну. Каждый поступающий должен был представить готовый фильм или подтверждение своей знаменитости на поприще театра и кино. Игоря не хотели подпускать к сдаче экзаменов по разным причинам: у него не было ни фильма, ни требуемой знаменитости, а по вопросу национальности он годился только в зубные техники. И когда он пришёл с документами, то секретарша сказала, что у них уже записано более шестисот знаменитостей, и соответственно… идите в другое место. Игорь красоты был неописуемой и знал, чем пронять хорошенькую секретаршу. Он ей сказал, что неужели она не узнаёт его или она не смотрела спектакль…, который он поставил в театре «Эрмитаж», основанном ещё Екатериной Второй. «Сейчас я достану газету с отзывами». «Но у вас нет кинофильма?!» «Почему нет?» «Есть у меня кинофильм. По сказке «Чёрная Курица» Погребинского. Вы не знаете о чём? Как мальчик спас чёрную курицу, оказавшуюся волшебницей, и она выполняла его желания. Будьте моей волшебницей! Исполните моё одно желание запишите меня в список поступающих!» И он был

приписан к списку поступающих под номером шестьсот первым. Однако ведь фильма-то нет! Всю неделю до предварительного собеседования он вместе со своими поклонницами и друзьями рисовал иллюстрации–декорации к сказке «Чёрная Курица». Нарисовано было бесчисленное количество роскошных картинок, из которых были сделаны слайды, которые он и принёс на собеседование.

— Покажите ваш фильм?

— Фильма в обычном смысле у меня нет, но у меня есть необычное зрелище, похожее на фильм. — Ответил Игорь. В приёмной комиссий раздались голоса, что они не хотят смотреть «необычные зрелища», а хотят обычный фильм. Кто-то уже встал и собрался уходить, но тут председатель комиссии, кажется, Роллан Быков, сказал, что уж раз собрались, так давайте посмотрим, что нам покажет этот молодой человек. Игорь заранее достал проектор и стал быстро демонстрировать слайды, со своими комментариями. Получилось что-то вроде мультфильма — рисованный фильм, прямо как первый фильм Диснея «Пляска мертвецов». Он фантазировал и очаровывал слушателей.

После просмотра «фильма» представитель студии юношеских фильмов решительным голосом сказал, что будет рекомендовать Димента на высшие режиссёрские курсы от своей студии. Игорь был допущен до экзаменов. Когда же он сдал все экзамены, включая сценарий, монтаж, то нужно было пройти самый главный — открытое собеседование, на котором тебе должны задавать устные вопросы любого содержания и ставить оценку за каждый ответ. Этот экзамен был главным препоном для проникновения нежелательных лиц. Слабым местом Игоря было его неарийское происхождение, а как было хорошо известно, именно таких людей и не желали принимать. Приёмная комиссия получила «намёк» на устном экзамене придерживаться принципов национального единства, т. е. «заваливать» не подходящих под эти великорусские идеалы.

Игорь, естественно, знал об этом заранее и подготовился к вопросам: «Почему вы хотите создавать фильмы для детей, ведь у вас нет ни семьи, ни детей?» Наш герой разразился импровизацией и устроил представление: «У меня очень рано начали накапливаться впечатления о несправедливости. И хотя у меня нет детей, но я сам был маленьким еврейским мальчиком, обездоленным от рождения. (В те времена слово «еврей» вслух при народе не произносили.) После войны я остался сиротой, моя мать умерла в блокаду, у отца появилась другая семья, я был одинокий, заброшенный и голодный. Мой зеленоватый цвет лица оттого, что я голодал. Я убежал из дома и скитался по городу,

никому не нужный. Потом меня приютила тётка, сестра моей матери… Мои сверстники не хотели играть со мной, я был плохо одет, меня дразнили «жидёнком», я часто плакал, мне было больно. Я чувствовал, будто мир объединился против меня. От моего безрадостного детства осталась боль, и в своих фильмах я буду показывать трагедию детей, которых обижают». В течение своего монолога он то возвышал, то понижал голос, жестикулировал и прерывисто дышал, а в конце красивым движением смахнул слезу и слегка опустил голову. Вместе с ним заплакали все члены комиссии, растроганные его речью. Его приняли. Конечно, он преувеличил свои детские впечатления, но победил.

Добрались мы и до снимков красавиц. Фотография красавицы Лили. Редко можно видеть такую совершенную красоту. Безупречно правильные черты лица с необыкновенно большими темно–фиолетовыми глазами. Она была его возлюбленной какое-то время. Я спросила:

— Откуда она у тебя появилась? Я только помню, как я пришла домой к нам в квартиру на Гражданке, вошла в большую комнату и увидела неописуемую красавицу, сидевшую у окна. Вы с Яшей разговаривали, а она молча сидела, нет, она не сидела, она находилась в пространстве, положив ногу на ногу. Я замерла, потрясённая такой неземной красотой. Эта была одна из совершенных женских красавиц, которую я живьём встретила впервые. Я не говорю о всех хорошеньких миловидных, просто красивых, я говорю о совершенной, первозданной красоте. Я навсегда запомнила её лицо жемчужно–матового цвета, выписанную шею, руки. Видишь, мы даже сохранили её фотографию, хотя я её совсем не знала. Ты быстро тогда уехал в Америку, я только мельком видела её на твоих проводах и больше никогда не встречала. Такого же совершенства красоту мы с Яшей ещё раз встретили в Италии, увидев возлюбленную продюсера Кристальди, которая была эфиопского происхождения, шоколадная красавица с именем Нура. Но больше мне не припоминается такого сильного потрясения совершенной женской красотой, как тогда Лилиной. Что с ней?

— Я встретил её в Самарканде, где снимал документальный фильм об изразцах и рисунках мечетей Шах–Зинда, она шла по площади Регистан около раззолоченной арки и была одета в синее–небесное платье, цвет которого оттенял белый нежный цвет её кожи, сверкали плечи, темные волосы вились локонами и были подвязаны серебристо–прозрачным жгутом. Я остановился и разинул рот. Она оглянулась. Я крикнул: «Околдован! Какая красавица! Благоговею!» — На его лице промелькнула милая,

лукавая улыбка, какой дано не было у него видно.

— Как долго ты ей благоговейно поклонялся?!

— Я не могу долго отдаваться чувству к одной женщине. Я не могу забыть обо всех других, мне хочется быть со всеми. Моя семья — это все… женщины, мне хочется, чтобы они мне все служили. Чем больше глаз вокруг, тем больше можно в них купаться.

— Но хоть какую-нибудь из всех твоих многочисленных женщин ты любил? — спросила я просто так, прекрасно зная, что никогда он никого не любил. Я писала ему несколько раз письма на эту тему, и только вчера мне попались копии моих писем к нему, тоже лежащие в этой папке.

— Я слишком хорошо их знаю. Любовная тоска — от недостаточного знания.

— Знаешь, знаешь, но понимаешь ли?

— Мне бы хотелось их не понимать. Ничего из них не создавать, как бы ты меня ни пытала.

— Я и не собираюсь этого делать, зная что ты любил только сам нравиться, ты обожал поклонение, преданное служение. В своих обольщениях ты всегда был обходителен, льстив, фантастичен. Помнишь, как ты остановил движение на Мэдисон авеню в Нью–Йорке? Моя хорошенькая подруга Галя тебе и нам показывала Нью— Йорк, и мы любовались небоскрёбностями, вдруг ты, увидев магазин цветов на противоположной стороне, рванулся к цветам, показывая машинам, которых была на улице целая сотня, чтобы они тебя пропустили по срочному делу. Все пешеходы замерли, все машины остановились и бибикали, все смотрели на тебя. Ты перебежал через улицу, купил громадный букет из красных и белых роз и под взглядами публики, под приветственные звуки гудков водителей с охапкой роз подбежал к Гале и, преклонив колено и сняв шляпу, на глазах у изумлённой публики обсыпал её цветами. Вся улица тебе аплодировала.

Конечно, красавицы от тебя теряли головы, и как только они оставались без голов, тут ты начинал тиранить, предавать, порабощать, подчинять. А через время ты сталкивался с необъяснимым, они начинали тебе мстить… — никому не нравиться быть обманутым.

— Да. Они мне и отомстили, всё отобрали, выгнали.

— Чем же закончился твой с Лилей роман?

— Она вышла замуж за какого-то клерка или адвоката и живёт в Англии. Она стала совсем некрасивой… — Про себя я подумала, что это он привирает насчёт её некрасивости, раз не его, то уже и не красивая. Может быть, Лиля оказалась ещё и умной и защитила себя от Диментовских притязаний?

— Я слышала, что ты женился на японке? Она казалась тебе непонятной?

— Она оказалась, как и все женщины, предательницей, и я сам не понимаю, почему я оказался с ней? Её зовут Миха. У меня есть прелестный сын от неё — Акиба. Теперь она мне не разрешает его видеть. Это единственное существо на свете, которое я люблю… Она мне мстит за то, что я не хочу быть только с ней одной, не хочу быть в браке, ты знаешь, что для меня брак — это оковы, обязательства, хлопоты. Она не даёт мне встречаться с любимым.

Тут он встал, схватил голову руками, произнёс ругательство в адрес японки, и на его лице опять появилась немая мука. — Получила какой-то ордер, чтобы я не приближался к её дому, засадила меня в тюрьму, якобы я её ударил… Он стал припоминать массу подробностей своей жизни с японкой, чьей она была любовницей, какая она неинтересная, потом перескочил на тюрьму, как в тюрьме его звали «Иван»… И в голосе появились шутовские и злобные нотки. Я решила перевести разговор с этих подробностей на более приемлемые темы.

— Тебя всегда привлекали восточные, загадочные, молчаливые женщины. Ты думал, что они таинственные, не такие понятные, тебе нравилось звучание: «У Ди Монта жена японка». Тебе так важен звук, и что скажет Дина, Лена, Люда…? Я всегда поражаюсь мужчинам, их психологической невежественности, их «выбору», и часто никакая самая фантастически изощрённая фантазия не может вообразить: почему люди оказываются вместе. А что Алида?

— Взгляни, — говорит он и достал из своей папки, которую я даже не заметила в его руках, когда он пришёл, рисунок. — Вот тут нарисована Алида с кинжалом, она отобрала у меня всё, продав нашу общую с ней квартиру, взяла все деньги себе, выставила меня на улицу, как и моего отца.

— Помилуй, твоего отца Алида в своём доме держала семь лет, ухаживала за ним и всячески его ублажала. Он, как ты знаешь, был страшным брюзгой. Мы вместе с тобой поставили его в очередь на квартиру в роскошном доме. Помнишь, когда мы пришли его записывать, ты сказал молоденькой девочке в офисе, что заботишься об одном брошенном старике. Она быстро записала его в список, а ты распушился, сказал, что ты режиссёр и приехал из Голливуда, и уж хотел показать о себе статью из газеты, полез за ней в портфель, и тут я тебе напомнила по–русски, что у бездомного старикашки такая же фамилия, как и у знаменитого режиссёра. Отец получил квартиру и, как все живущие в Америке взрослые люди, начал жить независимо.

Правда, он ходил и орал, что его, как короля Лира, все выгнали, поселили в богадельню, кругом одни старухи! Ему хотелось к молоденьким девочкам из «Плейбоя». Здесь у всех родители живут отдельно, и странно, что ты припоминаешь Алиде то, чего не было. Я, наоборот, всегда ставила в вину Алиде безумное тебе поклонение, она готова была спрыгнуть с пятого этажа, если тебе это было нужно, из-за тебя она никого и ничего не видела вокруг, пожертвовала своей карьерой художницы. Я не понимала её и считала и сейчас считаю, что она не должна была прощать твои предательства. Может быть, ты бы пришёл в сознание?! Впрочем, я не знаю.

— Но у меня она отобрала квартиру. Я сейчас живу в гостином доме вместе с сыном.

— С каким сыном?

— Ты знаешь, что все женщины хотели от меня детей, и оказалось, что у меня в Москве нашлось двое, тут трое. «Потусторонних?!» — перебиваю его я.

— Сына зовут Серёжа, ему двадцать восемь лет, он коммерсант. У него нет проблем с искусством, с духовностью, его это не интересует. Он меня сейчас привёз из России, где я пробыл месяц. Там я не мог никого видеть, никуда ходить, лежал и думал… Я приду с Серёжей к вам на днях, можно? Теперь хочу снять где-нибудь квартиру, и…

— Принимайся рисовать, писать, творить… Ты сам знаешь, что только при помощи искусства можно выжить.

Настроение и поведение его в течение разговора всё время менялось. То измученное, тяжёлое, то вдруг иронично–шутовское.

— А ты помнишь, как ты придумал секс по телефону? Во всяком случае, я впервые услышала об этом из рассказа Люды о тебе.

Моя подруга Люда остановилась вместе с ним в Нью— Йорке в доме их общего друга Гены Шмакова. Вернувшись вечером после концерта и войдя в неосвещённую квартиру, она решила, что никого ещё нет дома. Снимая шубу и сапоги, она вдруг услышала таинственные звуки, неожиданно возникшие: кто-то разговаривал трепетным шепотом. Она прислушалась. Дверь одной из комнат, выходившей в прихожую, была полуоткрыта, и через открытое пространство было видно, что разговаривал Игорь, полулёжа в кресле, заложив ногу на ногу, удобно облокотившись на спинку кресла. Обеими руками он обнимал телефонную трубку, склонив над ней голову. Его лица не было полностью видно, он сидел вполоборота и, не изменяя позы, только иногда протягивая руку к небольшой рюмочке и отхлёбывая, трепетно шептал в воздух, заполняя паузы

прерывистым дыханьем «… спускаю твои штанишки… осыпаю поцелуями… щекочу «храм Венеры»,… касаюсь шёлковых волос, перебираю пальцами каждый волосок… и вот уже влажные губы… кончиком языка раздвигаю этот цветок… погружаюсь в глубины! Ощущаю, какое тепло идёт от… нежнейшие ласки и нет различия… Раздвигаю ягодицы… облизываю и шепчу на ушко: «Божественная, я целую тебя! Дай сосать мне твой аленький язычок! Пить твоё дыхание! Волны наслаждений содрогают моё тело!» Бархатный, окрашенный сексуальными децибелами, голос переходил время от времени в завораживающие сладостные звуки. Слышалось учащённое дыхание, он то подносил рюмку к губам, то теребил и ощупывал телефонный провод, который вибрировал и постепенно исчез где-то за креслом. «Твои пальцы должны копнуть глубже. Ещё раз! Сильнее!… Проще! Водопадом поцелуев я…» Люда исчезала в буре неистовых поцелуев и на цыпочках неслышно прошла в свою комнату. Диментовские звуки соприкосновений тел произвели на неё неизгладимое впечатление. Утром Люда спросила у Игоря: «Вчера я невольно присутствовала при Вашем телефонном разговоре и восхитилась Вашим «сексом по телефону». Сегодня «она» прилетит к Вам на крыльях. Почему бы Вам не развивать свой талант на поприще искусства?!

— Я завтра улетаю для представления в Барселону, а потом у меня фестиваль в Каннах.

Сколько раз я его спрашивала об этом же «почему бы не развить?» И чего только не слышала в ответ!

Мы выпили с ним бутылку вина. Игорь повеселел, несколько успокоился, и мне захотелось вернуться к разговору о его работе.

— И сейчас ещё не поздно возродиться. Сначала научаемся терять, и только потом приобретать. Уитмен начал писать стихи после сорока, Шопенгауэр считает, что свои лучшие творения люди создают в зрелом возрасте, когда более свободна деятельность ума, гормоны не ударяют в голову и страсти успокаиваются. Всё через призму опыта. Ты как никто должен творить. Ты нуждаешься в искусстве, как в предохранительном и целебном средстве. Ты рождён для искусства. У тебя такие способности смотреть и оценивать. В творчестве ты терпелив и свободен. Ты сам писал в письме: «Чего не достигнуть полётом, достичь можно хромая…»

— Америка оказалась ниже того, что представлялось. Новый Свет оказался темнее ночи, — серьёзным голосом произносит он. Здесь такая китайская перенасыщенность во всех направлениях, что идей ей хватит на сто лет.

— Почему ты покинул Россию, когда перед тобой

открывались такие возможности? Ведь после окончания режиссёрских курсов можно было свободно снимать фильмы?

— Мы не были провидцами будущего и подогревали себя на отъезд с абсолютной убеждённостью. Нашими глуповатыми глазами мы не видели для себя выхода в советских мирах. Мы были заняты блужданиями по полуподвальным искусствам и порой делали что-то интересное. А тут? — Игорь налил мне и себе ещё вина, сказав, что оно ему нравится, и продолжал про себя в Америке:

«Как только я приехал в круговерть Америки, то ставил капканы на любую работу, цирки, театры, клубы. В Филе принял предложение владельца порнографического театра, больше похожего на кабинет спившегося гинеколога, усилить зрелищность «вещей». Поставил в Атлантик–Сити цирковое представление, был пожилым жеребёночком на побегушках. Потом ряд пантомим в Нью–Джерсийском театре для глухонемых и даже слепых. А хилое представление «Песня–Песней» в женском монастыре, где участвовало сорок монашек! Мы разыгрывали сценки из Библии. Представляешь, я и монашки! Поставил с какими— то рахитами глупый документальный фильм с сюжетом, вертящимся вокруг резинки от трусов какого-то исторического президента. Где-то под Принстоном делал что-то херувимско–пархатое. Я был нанят как дворняга— работяга, не имеющий права влезать в творческие отношения с «боссами». А в Голливуде монстр под именем «кино–бизнес» пожирает без остатка немалое количество людей, которые, в отличие от меня, имеют всё необходимое — и язык, и связи, и энное количество денег. И сколько сил идёт на голожопо–праздную рекламу! В этом престольном Муви–городе я создал студию для актёров, где обучал их ходить по сцене, дышать, смеяться, даже знаменитости начали приходить, все орали «гений», но каждый раз кто-то убегал по рекламам, всех вместе было никак не собрать, и я закрыл это предприятие. Ничего не хочу делать для этой гогочущей, увеселяющей себя козлоногими радостями толпы, материализмом запечатавшей все отверстия, одуревающей от скуки. Вот эта еб… Америка! Куда забрёл ты, Аполлон!»

Игорь переехал из Лос–Анджелеса, который возненавидел, в Бостон, купил хороший дом в приличном районе, на одном этаже жили они с Алидой и дочкой, а на другом его сводная сестра со своей семьёй. Он был окружён заботой и вниманием, муж сестры Саша организовал несколько домашних выставок–распродаж его картин. Алида день и ночь печатала его принты, делала шёлкографии, его поклонницы давали деньги на развитие его деятельности. Я с ним встретилась в Бостоне, куда тоже

переехала после смерти Яши. Мы виделись с Игорем, он смешил меня, зная, как ценен смех и юмор, давал хорошие советы. Это он посоветовал мне не создавать «бизнес» — не открывать художественную галерею. Он театрально представил меня в роли «бизнесвумена»: Где галерист? Он плачет, спрятался, обнимая картины. Художники за спиной шушукаются с покупателями, чтоб утащить свои собственные малевания и по дешёвке сбыть их твоим же клиентам. Помощница Алида считает деньги, которых нет…» «Если ты будешь продавать картины, — значит ты «наябываешь» художников. Если же ты не будешь продавать, — то тебе нужно торговать селёдкой. В любом раскладе ты выглядишь, как устрица». Я последовала его совету, — не ушла в бизнес «продавания картин», и неоднократно вспоминала его предупреждение.

Постепенно Игорь начинал со всеми портить отношения, становясь более загадочным, «под тупыми углами разворачиваться друг от друга», сначала поссорившись с сестрой и её мужем, которых «вытаскивал» из Союза: писал о них во все влиятельные организации, сенаторам, конгрессменам, поднял целую бучу вокруг их отказа, и когда их выпустили, то стал считать, что они навечно ему обязаны. Чувство, что вся семья ему должна служить и слушаться, ещё больше укрепилось, потому что цена дома, который они вместе с сестрой купили, была намного «скощена», благодаря обаянию и охмурению Игорем продавальщиков. И в конце концов пришлось признание своей власти над семьёй сестры выяснять через суд — кто на каком этаже должен жить, кто чем владеет, чей подвал и чей чердак. Поссорился он и с мачехой, которой помогал найти квартиру в хорошем и недорогом доме, а потом настаивал, чтобы она взяла к себе жить его отца. И, наконец, даже с Алидой, терпевшей его дольше всех.

Он снял отдельную квартиру, стал всё притемнять, уходить в подполье, скрывать …

В районе Бостона он сделал одну довольно успешную выставку своих картин, но не на престижной улице Ньюбери стрит, и потому прислал нам приглашение на открытие выставки после того, как выставка уже закрылась. Говорил, что если он захочет, то затмит всех художников, выставляемых в самых шикарных галереях. Но затмеваться стал сам, перестав рисовать, работать. Он придумывал различные оправдания своему ничегонеделанию, изобретал различные предлоги для этого, то вдруг появлялся с палкой, хромал, мол, спина болит, то выдумывал, что он в Японии ставит какое-то представление, и даже показывал неизвестного происхождения японскую газету с

его фотографией. То пришёл весь заплаканный с перевязанной головой, заикался, сказав, что вот уже четыре месяца он в таком состоянии — переживает убийство своего друга Гены в Нью–Йорке и не может ничего делать. «Но вы ведь разошлись сто лет назад, ещё до отъезда из Союза, и друг друга ненавидели?!» Видя, что я ему не верю, он решает «достать» меня: «Даже Якова смерть так на меня не подействовала!». «Так ты не заикался, а рисовал», — сказала я.

На почве неудовлетворения самим собой стали вырастать ядовитые растения.

Наши встречи и разговоры постепенно принимали всё более «неинтересный характер». Всё реже и реже он шутил, всё меньше юмора, и я уже не покатывалась со смеху над его шутками. Выдумывал про свои «занятия», почти каждый телефонный разговор прерывал: «Перезвони мне, пожалуйста, ко мне пришли студенты». Хорошо, перезваниваю. Через две–три минуты: «Ко мне звонят из Голливуда, позвони завтра». И на завтра и на послезавтра: «Не могу разговаривать: важные господа из Англии». «За мной приплывает яхта, меня ждут в гавани». «Вчера был в богатом ирландском еврейском доме, где висела карта Израиля в натуральную величину, я не могу говорить, мне звонят», «Я сейчас на телефоне с Францией! Перезвони!» «Мне звонят из Японии, перезвони!» «Меня ждёт лимузин…» Если же он не прерывал разговор, то беседа превращалась в длинный монолог несусветных преувеличений и хвастовства. Чем больше он отходил от деятельности, тем больше погружался в придумывание про себя, в обман окружающих насчёт самого себя. Уходил в подполье, не только метафорически, но и на самом деле, — отсиживался в подвале, говоря, что уехал в Австралию или Индонезию. А как потом выйти из подвала? Что показать?

Какие картины, какие спектакли? Можно только заказать газету с иероглифами, с вензелями отелей, с графскими приставками.

У Аполлона, бога всех творческих сил, талант затмевался, начинал вырастать горб, и он становился обидчивым и нервным, как горбун.

В одной из ролей он любил Яшу, в других — незнакомый, отстранённый жестокий.

Холодная война между Союзом и Америкой закончилась. Открылась первая возможность поездок эмигрантов в покинутое отечество. Жена Игоря Алида собралась в поездку в Ленинград. Я попросила её передать альбом Яшиных картин, сделанный после его смерти. Альбом был красивый и изящный, хотелось, чтобы он был у наших друзей в России, как память о Яше. Договорившись с

Алидой накануне, я привезла три альбома на следующий вечер на квартиру Ксаны, организовавшей эту первую поездку эмигрантов. Безусловно все волновались, обсуждали неслыханное событие, и вдруг за чаем, после того, как я встала из-за стола и хотела достать альбомы, лежащие в сумке в коридоре, и уже подошла к стеклянной двери, выходившей в коридор, Игорь, тоже присутствующий на встрече, меня оборвал: «Что это ты придумала передавать? Слово «передавать» он произнёс по слогам, окрашивая каждый слог желчью, будто бы я хочу сделать что-то мерзкое. Он в поступках людей умел видеть плохое. Я это уже знала, но как всегда люди думают, что к ним не относится презрение, что их-то выделяют и, может быть, даже любят, и… всегда ошибаются. Я вдруг увидела всю ошибочную глупость своих ожиданий, степень его отчуждения от меня. «Алида едет повидать свою мать, она ради матери затеяла эту поездку. Для матери». В эти казалось бы нормальные предложения с обычными словами и желаниями он вносит столько оттенков, подчёркивая, что, мол, Алида — святая, а другие (в данной ситуации я) не достойны таких возвышенных идей»… В эти секунды ему важней всего возвысить Алиду, перед которой он, видимо, хорошо провинился, проиграть перед публикой, какой он хороший, произнести слова «мать», «повидать».

Думая, что он не понял, о чём идёт речь, я говорю ему, что «я хочу послать Яшины альбомы. Они совсем не занимают места».

«Ты что, собралась их продавать? Всех интересует только бизнес. — Саркастически говорит он. — Алида ничего брать не будет. Все хотят прокатиться на Алиде. Она едет повидать свою мать». Когда он повернулся ко мне лицом, то оно было похоже на маску: с лица он убрал всё приятное, глаза его остекленели в отчуждённости, и лёгкая усмешка скользила по лицу, которое стало перекошенным. Я онемела: «Все эмигранты, как… мандавошки! (его любимое выражение) Каждый себе гребёт!»

От него такого я совсем не ожидала. Я ещё могла допустить презрение к моей какой-то передаче и даже могла оправдать его, но речь шла о памяти Яши, по его словам самых им уважаемых и любимых людей. Комок подступил к горлу… Я ничем не уязвила его самолюбия. Я растерялась, не понимая в чём дело?

«Игорь, ну перестань!» — останавливает его Алида. К ней присоединилась Ксана: «Игорь! Ну, что ты так! «Эффект его сценария начинает разворачиваться.

Я чуть слышно произношу: «Я думала, я хотела… Яшин альбом…» Слёзы заглушают мои слова. Каждый из присутствующих, покачивая головой, пытается обратиться к нему с увещеваниями. Все в плохом состоянии. Достигнув

сценического успеха, казалось бы, он должен закрыть занавес, но он не в силах отойти от захватившего его сценария. Он сидел ко мне вполоборота, а когда он повернул ко мне своё лицо, оно стало походить на новую маску, которая относилась к другой фазе чувств: «Что ты просишь, Алида не может взять. Меня попросили передать туда, — и тут он артистически наклоняет голову и заговорщическим голосом, будто бы собирается сообщить невероятную тайну произносит: «рукописи Васи Аксенова». Слова «рукописи Васи Аксенова» он произносит с придыханием, с таким подобострастием, понизив голос, как будто речь идёт о передаче секретов атомной бомбы. После этих слов я почти теряю сознание и, задыхаясь от подступившей обиды и раздражения, восклицаю:

— Что тебе Вася!? Твой друг Яша!

Думая, что все с подобострастием относятся к каким-то «богатым ирландским евреям», «наследникам Форда», «детям лорда», он обращался к этому несуществующему в других людях чувству и всегда меня этим раздражал. Он мог заискивать перед каким-нибудь именем, богатством, а потом обливал этого же человека желчными помоями, поклонялся успешному человеку, а потом смешивал его неизвестно с чем. Подхалимство и злопыхательство уживались в нём. Почему он придумал эти рукописи, не испытывая сам никакого сверхуважения к Аксенову? Свою ярость я уже не могла сдерживать: «Ты — предатель! Ты предал своего друга. Я не хочу тебя видеть!» Кажется, мои слова выводят его со сцены, — он ничего не отвечает. Наступает холодная тишина. Всем неприятно, неловко, противно. Забрав альбомы, я в слезах ухожу. Вместе с альбомами я уношу свою дружескую любовь к нему.

На заре в пять часов утра раздался звонок: он извиняется, бормочет, что кто-то ему заморочил голову, «пришли какие-то люди, их прислал ко мне Миша»…, а в шесть часов утра он уже приехал и стоял перед окнами нашего дома на коленях. Изображал полное раскаяние, умолял о прощении. Спрашивается, зачем этот бессмысленный скандал? Какой смысл и какая подоплёка?

Я его простила, но… после этого эпизода душевно отдалилась. Я написала ему тогда письмо, «из-под яблони», в котором говорила: «Ты должен себя любить, а не авторитеты, вера в которые почти безнравственна. Своё лучшее «Я» ты должен доставать из жизни. Я презираю твоё преклонение, заискивание, и не прощаю тебе сладкого придыхания к именам. Тобой руководят стихии, и ты можешь хватить через меру, отдаваясь своим эмоциям. Эта женская сторона твоей натуры для тебя самого

абсолютно неприятна. Стихийное, неосознанное, полностью бессознательное. Этот бессмысленный, чудовищный скандал могла устроить только женщина, в которой эмоции побеждают, а разум молчит. Ты ненавидишь в себе своё женское неуправляемое начало. Ты никогда не занимался самопознанием, а как говорят философы, «Аполлон как этическое божество требует самопознания». Ты боишься анализировать свои поступки, слова, свою зависть, свою месть и прячешь всё в своё подполье». Аполлон начинал преобразовываться в Диониса.

И чем больше погружался в недовольство собой, тем больше он высмеивал и злобничал насчёт окружающих. Если раньше его высмеивание эмигрантского скряжничества было интересным, то со временем «яд неудовлетворённых желаний» пропитывал его и фантазия уводила в неприятное отвращение. В его остроумии появилась желчность, бывшие пикантными булавки и шпильки стали окрашиваться ядовитой слюной. В разговорах стали звучать язвительно–насмешливые преувеличения. Говорить о вещах интересных он разучился. Чем старше он становился, тем сильнее проступали в нём черты отца, ворчливого ипохондрика, кидавшего в помогающих ему женщин тарелки и оскорбления.

Вот лежит копия моего последнего письма к нему. Я пыталась ему что-то сказать письменно, потому что устно он ничего не хотел слушать и вёл только бесконечные монологи. Я приведу это письмо полностью, хотя мы его не зачитывали в вечер нашего возвращения в прошлое. Он усмехнулся какой-то горькой улыбкой, увидев, что я хранила копии своих писем к нему.

«Дорогой Игорь!

Я пишу тебе после нашего вчерашнего телефонного разговора, вернее, твоего монолога. Мы живём на гигантском маскараде, где каждый из нас надевает разные маски, хорошо тем, кому это объяснили с детства. Открытие, что мы обречены на разыгрывание комедии, портит нам отношения с людьми, а оставшись в одиночестве — отравляешься ядом одиночества, и мы остаемся, повисаем в мире, где каждый из нас отыскивает свои способы и пути для разряжения своего духа отчуждения и вражды. Твоя высокоодарённая натура находится в таком противоречии и разладе с собой, что меня охватывает редкая боль… Видя, как ты отвращён от себя, как ты плохо к себе относишься — я немею. Я думаю, где истоки твоего отвращения от себя? Мне хочется задать тебе много вопросов и хоть капельку раскрыть тебе своё видение твоих страданий. Я вижу, что ты живёшь без любви, с загадочными масками, которыми ты закрываешь своё лицо, своё страдание, своё отвращение и от себя и от человечества. Отвращение от людей и такая от них

зависимость разрывают тебя на части. Пренебрежение моралью и такая моральность, что мороз по коже идёт, такие психологические проникновения и такая психологическая невежественность, что бабка из подворотни оказывается Шопенгауэром в сравнении с тобой! Такое восхваление и вознесение кого-нибудь, а потом «доставание» из него самого что ни на есть мутномерзкого… До бесконечности я могу перечислять твои противоречия, как все сферы твоей души находятся в разладе одна с другой… Как ты не можешь любить то, что ты любишь! Как изощрённо ты избегаешь не только глубоких мест, но даже тёплых течений и барахтаешься в окружающей воде мелкого происхождения.

Ты не ценишь главного в себе, презирая этот «плебейский мир», ты действуешь по его же плебейским законам. Не дальше от морали, а в её отвратительной моральности. Вера в себя, гордость самим собой, ирония по отношению к себе тебя покинули.

Возведя в звезду (не по правде, а для выгоды) какую— нибудь наискучнейшую, забубённую, обыденно–закрытую женщину, ты оказываешься во власти удобств и чувств своей ущербности (конечно, это всё скрыто — она как бы любит, а ты — нет), ты принимаешь все бенефиты — слайды, обеды, ужины, подарки, удобства. В тёмных лабиринтах твоего нутра зарождается чувство вины, и чем сильнее оно вырастает, тем больше ты затягиваешься в сети виноватости. «Её чистота» тебя начинает губить, и ты цепляешься за её крылья, и боль от этих цеплений–ран ты ощущаешь, как вину. У многих женщин есть цель — всё время развивать в мужчине чувство вины. Все твои женщины должны тебе служить, как Серые волки, и в угоду удобствам — удержаниям этих женщин ты приносишь себя в жертву. Не любви, а удобствам. Но женщины ещё более коварны чем ты, что тебе не приходит в голову, и они тебе мстят. Так было в Голливуде, где ты поставил свою карьеру, своё искусство, себя в зависимость от женщин, т. е. «нахуй», и ты в них растворился. Знаешь ли ты, что есть такие морские коньки, которые после совокупления исчезают в самке, растворяются в её теле? Так и ты растворил через «храм Венеры» свой талант и величие! И стал зависим от морали, от чувства вины. Помнишь наш разговор на квартире у Ксаны, когда ты устроил светопреставление, всё предав и подчинив своему чувству вины перед Алидой. Тебя потопляет твоя «моральность», твои выдуманные жизненные концепции, в рамках которых ты как в тисках. Казалось бы, ты — свободный художник, живи себе «и не стыдись безумных наслаждений!» Но ты не можешь жить себе и наслаждаться, потому что ты всё время чувствуешь, что ты виноват — ведь ты любишь не человека, а свои удобства, и это

свербит. Ты никогда не открыл другого человека — только любовь помогает это сделать, а ты никогда никого не любил. Но почему же я тебе пишу всё это? Потому что я чувствую, что в тебе есть глубокий родник, который клокочет и хочет выйти наружу, и я хочу под мутным слоем твоего льда найти крупинку золота, погружённую в глубине под толстым слоем ила. Почему-то у меня теплится надежда. Я хочу, чтобы наши общения, соприкосновения обогащали бы друг друга, чтобы я тебя увидела оттаявшим, не подавленным чужим благосостоянием, не… не… с желанием повернуть назад. Я предлагаю тебе сотрудничество, при котором ты будешь *отдаваться* (первый раз в своей жизни), а не я… Я пишу книгу «Записки о невидимых поединках», от которой жду много, и хочу привлечь твою фантазию. (Ильф и Петров, Тарапунька и Шекспир!) Как мне говорил Яша: «Освобождай свою свободу!» И я, кажется, добираюсь, чего желаю и тебе. Яша и я верили в твой талант, и я ещё верю, хотя уже трудно. Не льсти мне коварно, а прими как друга — сдайся! Себя люби до потери завирания… Я всё— таки надеюсь и грущу, вернее, буду грустить, если ты опять не поймешь, что я тебе хотела сказать. Любя и дружески. Дина».

Он мне ничего не ответил. Так давно лет семь назад закончилось наше общение.

Мы перелистываем страницы нашей жизни, множество картин той поры проходит перед нами. Димент хотел побеждать и завоёвывать, менял страны, города, возлюбленных, оставаясь верным только своей неверности. Жил в отражённом свете реальности, в эксцентричных выдумках, эпатаже.

— Я ищу высшей жизни, — произносит он и все мускулы его лица приходят в движение. — Здесь я не могу больше оставаться — мне невыносимо. Бог отказался от меня. Я не могу к нему достучаться. Меня все предали и обманули. — И снова повторяет: — У меня нет ни дома, ни друзей, ни любимых… А с Акибой мне не разрешают видеться. — Он подпирает одной рукой голову, а локоть другой ставит на стол, и рука его непроизвольно дрожит. На лице появляется трагическая маска. (Гениальный артист!) Страсть его всегда была чем-то вроде игры, никогда нельзя было точно знать и положиться. Из потребности скрываться он всегда импровизировал, и я не могла отличить: где кончается игра и начинается правда. Мне думается, что и он не отличал.

— Естественная правда никогда не была тебе свойственна. Ты в людях видишь только дурные стороны. Ты хочешь отречься от жизни? От свободы? Может быть, тебе обратиться к врачам?

— Ты представляешь этих врачей психиатров? Юнги, Фрейды! Что, Якова могли они вылечить? Он перебирает, что-то…

— Я задам тебе мучивший меня вопрос: почему тебя все предали? Почему ты так думаешь?

Он пытается что-то припомнить, его лицо становится до ужаса безразличным, и на мой вопрос отвечает неожиданным образом:

— «В темнице мира я не одинок». А точно ли был у меня талант?

— Вне сомнения, был. И ещё какой! Но сколько ума нужно присовокупить к страсти, чтобы творить, чтобы из страсти родилось произведение.

— Ты живёшь умнее меня.

— Спасибо, стараюсь. Только не продолжай, а то дойдём до спуска на меня всех лающих гадостей.

— А мне жизнь неинтересна. Я всегда старался придать ей более заманчивый и авантюрный характер. Я придумывал, фантазировал, сочинял, чтобы приукрасить её, чтобы вдохнуть в неё элемент загадочности. «Вся эта жизнь — необходимость бреда». Надувал эти пузырьки людей, которые к небу не взлетали. Потолки повсюду. Потолки. Я всматриваюсь в свою жизнь… И вижу, как омерзительны и глупы люди, — и он опять стал красноречиво говорить «о рыбе–треске новой жизни с замороженными губами», над всеми возвышаться, и совсем не слушал меня. Мы разлетелись в разные сферы. Разговор на несколько мгновений выдохся. Мне хотелось поддержать свою теплившуюся веру в него.

— Скажу тебе несколько слов о твоём таланте. Ты знаешь, как я ценила его, как восхищалась и сколько ожидала. Что может сравниться с твоей вдохновенной ложью, смешанной с поэзией!? А твоя демоническая интуиция в виденьи людей! Будто бы лазерным лучом ты просвечивал людей. Твоя необыкновенная прозорливость! Как ты мгновенно определял отношения людей друг к другу, однако, сам ты не чувствовал, как к тебе люди относятся. Тебе казалось, что человек поддаётся на обман и хитрости, но дураков насчёт себя нет. Все очень быстро раскусывают чужие орехи. И твоё своеобразное умственное превосходство люди не ценят так, как тебе хочется.

— Такого человека загубили! — произносит он и ударяет ребром ладони, как в «карате», по крышке папки «Димент».

Удар глухой и короткий. Папка захлопывается. Мы поднимаемся из-за стола. К нам спускается Лёня. Игорь изменяется в лице, становится светским, говорит, что он придёт на днях к нам вместе с сыном.

— Я хочу, чтобы вы ему рассказали, что я не простой такой, а чтобы…

— Сказали бы, что ты председатель палаты лордов и только с ними ты ставишь свои спектакли, — пошутила я, и Лёня добавил, что конечно, мы тебя примем со всеми почестями, как только вернёмся из Канады. Мы собирались уезжать на день рождения Лёниного друга.

— Дайте что-нибудь почитать, но не серьёзное, никакой философии, детективы и какую-нибудь «поебень», если она у вас водится. Все учёные, профессора! — последние слова он произносит с лёгким сарказмом. — Лёня, нет ли у вас сигарет? Поищи, может, кто оставил?

Открыв шкаф, где стояли книги, пока Игорь отбирал, что ему хотелось, а Лёня пошёл поискать сигарет в кухне, я бессмысленно смотрела на бывшего крылатого Аполлона. Его чудовищная разрушительная сила подействовала на меня после стольких лет невидения и пробралась сквозь выработанные мною защиты от таких богов. Весь вечер я отражала от себя чёрный свет его печальности, его глубокой утомлённости и вдруг почувствовала себя опустошённой, обезволенной, почти больной. Я и раньше-то не представляла как можно жить бок о бок с такими Аполлонами, с ними можно только похохотать, а чтобы завести роман, полюбить?! Выдерживать такой натиск, оставаться без пространства?! Неудовлетворённый, ненасытный, глубоко больной, давящий. «И даже если он ранит себя, этот мастер разрушения, саморазрушения, то после этого, оказывается, сама рана принуждает его жить…» А ты? Тебя нет, тебя не учитывают, ты только средство… Кто захочет жить с бездонным океаном?

На прощание Игорь подарил свою страшную картинку, странно нарисованную, где все его терзают, а он во весь рот кричит от боли, подписав: «живущим в другом мире». — «Можешь приписать — сказала я — где нет страха и боязни привидений». Он усмехнулся.

Потом откуда-то из пиджака, как из-под сердца, достал рукопись своей пьесы, которую писал с незапамятных времён, все эти годы, причём на английском языке, заставляя всех своих американо–английско говорящих поклонниц переводить, печатать. Говорил, что он так знает русский, что мечтать приобрести адекватный английский — это всё равно, что мечтать о бессмертии.

— В России пьесу перевели на русский язык, и я тебе её преподношу! Ведь ты не читаешь по–английски, мечтаешь о бессмертии. — И, стесняясь и глядя куда-то в пустоту, пробормотал, что это «рабочая версия». Я открываю и читаю название:

-»Шёпот змеи — в скобках — немая песнь. Посвящается

людям, а число их слишком велико, чтобы перечислять их поимённо, чей пример позволяет нам понять, что человеческая сущность представляет собой притворную комедию призрачных иллюзий». Очень ласковое посвящение друзьям и знакомым. Я не знаю, кто себя причислит к твоим посвящённым?

Вдруг он заторопился, сказал, что его ждёт сын и уже довольно поздно, и направился к выходной двери. Я взглянула на него: он смотрел взором, который словами описать нельзя.

Мы вышли на безмолвную улицу. Окна соседнего дома напротив были не освещены — странно, там живут рок–н–рольные звёзды, и почти все ночи напролёт их окна оживляют нашу улицу. Нежное дуновение весеннего воздуха обдало нас. Чёрные деревья рок–н-рольного сада стояли неподвижно. Луны не было, и на тёмном небе были видны нормальные звёзды… «Посмотри, упал метеор!» Игорь медленно обернулся, тело его поддалось вперёд почти до самой земли, и он, будто теряя равновесие, чуть не задев фонарь, молча упал на колени. Он молитвенно протянул руки к небу, постоял несколько секунд, всей позой выражая муку, и, будто бы вспомнив о чём-то, произнёс:

Привет тебе от Игоря! О, брат мой метеор!
Светить, угаснуть и исчезнуть в царстве мрака!

Его стих перекликнулся с завывающими звуками машин то ли скорой помощи, то ли полицейских, которые донеслись со стороны реки Чарльз–ривер. Не успели замереть в воздухе эти звуки, как со стороны холма раздался резкий стук хлопнувшей двери, который понёсся по склону и исчез, и снова стало тихо. Игорь поднялся с колен, надел перчатки без пальцев, нажал на автоматический открыватель своей машины, которая взвизгнула и открыла ему свои двери. Он сел в неё, махнул нам рукой на прощание, и машина унесла его.

Несколько дней спустя, на исходе марта, после нашего возвращения из Канады позвонил сын Игоря — Серёжа и сказал: «Папа покончил с собой… С собой… Я хотел его спасти. Я так хотел ему помочь. Он уже ничего не слушал… Я так поздно его нашёл и так сразу потерял…»

— Приезжайте, я хочу вас видеть и хочу поговорить о нём.

Вошёл молодой человек в чёрном траурном элегантном костюме. Сходство с отцом меня поразило. Правда, лицо Серёжи было более мужественное, рот резче очерчен, вся осанка более твёрдая, и в лице не было ускользающих выражений и гримас.

— Жаль, что сына друга моей юности мне приходится первый

раз видеть при таких печальных обстоятельствах. Я сожалею. Я никогда не знала, что у него был в Москве сын. Только в наш прощальный вечер он сказал, что приехал вместе с сыном в Бостон. Он всю свою жизнь окружал тайнами, загадками, вопросами. У меня были сложные с ним отношения. В Игоре были непримиримые противоречия.

В нем были все преступные истины и все космические. Его окружал искрящийся, расточительный талант, сила и быстрота которого многих пугала и отталкивала, а некоторых жутко притягивала, но через некоторое время опять же отбрасывала, и он оставался без любви самых страстных его поклонников. Он приобретал новых, и они опять попадали в цикл вращательного движения вокруг него и, покрутившись, кто сколько выдерживал, вылетали, убегали, отходили, унося самые противоречивые суждения. Как видите, Серёжа, у него никого не осталось, никто из его жён, поклонниц и возлюбленных не хочет устраивать его похорон и поминок. Это всё до неприятного предсказуемо. Как он вас нашёл?

— Это я его нашёл. Я долго не знал, что Игорь мой настоящий отец. Я жил в Москве с отцом, который меня воспитывал. Мой отец военный и вполне достойный человек. У меня есть младший брат, и мы вместе росли. Но лет в пятнадцать мне стало казаться, что тот человек, с которым я живу, не мой отец, никто мне ничего не говорил, никаких писем я не видел и не читал, просто стал ощущать, что никакого сходства, никакого «зова крови» к отцу не испытываю. Я стал чувствовать какую-то тайну, подозревать и начал следить за отношениями в нашей семье… У моей бабушки в Петербурге я наткнулся на поразившую меня фотографию — на ней была моя мама, которая стояла в красиво–отогнутых сапогах, в мини–юбке, улыбалась, склонив голову на плечо роскошному мужчине. Они стояли напротив театрального института на Моховой. Взглянув на мужчину, с которым стояла моя красивая мама, я будто бы получил электрический разряд. Я спросил у бабушки: «Кто это?» Она смутилась и пробормотала что-то невнятное. Я выкрал эту фотографию и долго рассматривал. Я её спрятал и время от времени на неё смотрел и, когда дома никого не было, доставал её и сравнивал со своими, смотрел на себя в зеркало. Я видел поразительное сходство себя с этим человеком на фотографии. Я почти не сомневался, что есть какая-то загадка моего рождения и что это наверно, и есть мой настоящий отец. В один из дней, оставшись с мамой вдвоём в машине, я её спросил: «Скажи мне, мама, кто мой настоящий отец?» От такого вопроса она онемела и долго молчала. «Тебе кто-то это сказал?» «Нет. Я сам понял».

«Почему? Разве к тебе папа плохо относится, по–другому, чем к Пете?» «Нет, я точно знаю, что мой отец другой».

Она обняла меня, начала плакать, я достал фотографию. Она увидела её, и мне всё рассказала. Как любила она этого человека, как он шёл за ней вдоль всего Невского… Сказала, что он живёт в Америке. «Я хочу его разыскать». Она знала его адрес. Оказывается, он через бабушку иногда присылал разные подарки и… вот я нашёл его! Он приехал в Москву первый раз и мы… И вот во второй раз я его потерял».

— Вы знаете, Серёжа, Игорь приходил «прощаться».

— Он тогда ушёл без объяснений, и я его искал. Потом он мне сказал, что был у вас, но сразу придумал что-то странное. Я уже знал, что он в депрессивном состоянии. Мы ходили к врачам, но он обманул врачей, и его выписали.

— Серёжа, даже в прощальный вечер я не верила ему, не могла опять отличить правду от лжи. Я видела, что ему плохо, но то, что он больше не надеется на жизнь, я не чувствовала, потому что он почти всегда мистифицировал. Говорил, что он сидел в тюрьме, что его японская жена вызвала полицию, чтобы отнять у него Акибу, а он побил полицейских, потом оскорбил судью, сказав, что судья лесбиянка и защищает лесбиянок. Он погрузил меня в мрак его жизни, хотя иногда вдруг начинал улыбаться, вспоминать, настроение его всё время менялось, были какие-то неоправданные переходы от моментов душевного успокоения к изнуряюще грустным.

— Он, правда, сидел в тюрьме, кажется, шесть месяцев. Миха по электронной почте передала своей подруге, что Игорь её ударил. Он это отрицал, и потом всё закрутилось.

— Конечно, я никогда не думала, что так всё обернётся. Какую тайну ада он носил в себе! Такой исход. Я обещала Игорю давно–давно написать о нём эссе или повесть с названием: «Блеск и нищета Игоря Димента». Я хочу изобразить его совсем не хуже, чем он был, но и лучше у меня не получится, хотелось бы как есть, как я его видела. Редко я встречала такой безудержный талант, с которым так обошёлся его владелец, подписав ему приговор. Я хочу написать об Игоре для моего сына Данички, чтобы и он не растрачивал свои таланты и способности. Таланты у всех разные, а трагедия одна. И для себя хочу прояснить ещё раз, — «кому много дано, с того много спрашивается». И снова удивиться, как человек не ценит то, что у него есть, а хочет неизвестного. Игорь хотел быть всем, ему было мало быть только художником. Ему это легко давалось, это он делал охотнее всего, и не ценил эти свои способности. Он хотел быть философским писателем, кем угодно только не тем, что давало ему ценность.

Мой муж Яков понимал это про других, а сам тоже вместо того, чтобы писать философские статьи, в чём у него был талант и как советовал ему отец Александр Мень, писал картины, хотел соревноваться с природой. Трагедия моего мужа Яши другая: у него его высшее «Я» боролось с низшим, но, видимо, есть какая-то «общая» тайна, роднящая их. Я замолчала, а потом спросила:

— Серёжа, что говорил Игорь в последние дни?

— Он обвинял женщин, обстоятельства, Америку, ругал людей.

— А себя? Признал ли он свою ответственность?

— Да, за несколько часов «до» он сказал, что его вина тоже есть… может быть, на половину…

— В чём же?

— Он этого не сказал. Вам он просил передать книги, которые он взял у вас читать. Говорил, что Вы удивитесь его пьесе.

— Пьеса, как он сам пишет, о паутинности мира и об экзистенциальной разобщённости — не о любви. Что больше всего его мучило в последнее время? Говорил ли он кому-нибудь «прости»?

— Он несколько раз повторял строчки: «Жизнь упала как зарница, как в стакан воды ресница. Изолгавшись на корню…».

— Но, не добавлял — «никого я не виню»? Завещал ли он что-либо в разговоре или письменно?

— В последнюю ночь я проснулся и увидел, что он что— то писал. Но утром я нашёл только разорванные обрывки листков, выброшенные в мусорную урну. Я пытался их собрать, но находил только отдельные слова. «Господь», «Обман», «Битва жизни».

Долго я не находила покоя. Возвращалась к тому, что произошло с Игорем. Расставляя книги, которые он брал читать, мне казалось, что он ещё здесь присутствует. Агата Кристи «Месть». Мандельштам. «Сумерки свободы». Открываю, листаю, подчёркнуто Игорем:

В ком сердце есть —
тот должен слышать время,
как твой корабль ко дну пойдёт!

Думала, глядя на всю его жизнь, как постепенно шёл он к своему разрушению, к пропасти, как разворачивалась драма. Я обращалась к нему, хотя знала, что он уже не может ответить.

Похититель женских сердец! Шармёр, кого же ты всю жизнь обманывал? Кому принёс ты утешение? Кому отдал свою любовь!? Что искал ты? И что хотел? Твоя японская жена Миха

написала мне, что скучает без тебя, но рада, что тебя уже нет, и больше ты не будешь её мучить. Твоя жена Алида, отдавшая тебе всю свою жизнь, сказала, что в её сердце от тебя осталось только «ничто — пустота». Всех других я не спрашивала, но думаю, что ничего утешительного не услышу. Давно–давно я тебе сказала, что мужчина поднимается благодаря женщине. И ты мне ответил: «Не смеши меня и не обольщайся!» Никогда ты не мог создать мифа из женщины, как любой Казанова. Для тебя другой человек не был — «Ты», потому как ты не открыл в себе «Я». Ты никого не любил, и себя тоже. В этом твоя трагедия. Это и привело тебя к отчаянию? Может быть, только смерть научила тебя смыслу жизни?

И там, где казалось, мы должны были пасть от восхищения, там видим только… вырастающий горб… и не слышим его отчаянного возгласа: Я умираю! И не можем понять как страдало его тщеславие?!

«А точно ли был у меня талант?» «Был» Но из таланта вырос горб, который победил.

«Дина, как же вы не смогли Игорю помочь, предложить что-то, поддержать, неужели вы не видели в каком он состоянии? Вот если бы он пришёл ко мне, то я бы не отпустил его, а помог бы ему, оставил его у себя пожить, обогрел, приласкал… ухаживал бы за ним, нашёл бы слова, понял бы, что Игорь нуждается в утешении… это бы не произошло. Как же так, неужели вы не почувствовали?…» — Говорили отдельные люди, что они более чуткие, более добрые, более жертвенные…

Я не спрашиваю, почему же он к вам не пришёл, я не спрашиваю, откуда у людей такое честолюбие? Я только поражаюсь степени человеческого «завышения», воле к превосходству, и не люблю напяливающих на себя волшебную шапочку идеала. Только человек, находящийся в сознании относительно мотивов своих поступков может быть добрым. Самоуверенность людей без анализа самих себя вызывает сожаление. «Всё должно быть сознательным, чтобы быть добрым». И как же быть сознательным?

С какой бы силой нас ни охватило бы сострадание… оно не спасло бы Игоря–Аполлона от его судьбы. Он уходит из этого земного существования без любви. «Никому не буду говорить ни одного приятного слова, всех буду ссорить, каждому буду говорить, что кто про него думает, наговаривать одному на другого, устрою маскарад мести!»

Вместо победного лаврового венка на голову Аполлона я бросила в его могилу щепотку камней, перемешанных с моими слезами, и один камушек остался в горсти. Он пробрался в

перчатку и шебуршался. Глухо падали на дощатую поверхность гроба прощальные комья земли. Была грустная тишина. Никто не издавал пронзительных криков, напоминающих, что заключается в акте любви. Некому было прокричать, что жизнь — как соитие, в каждом акте которого ты умираешь, и некому было погрузить нас в неизвестный сон, чтобы посмотреть обратно на жизнь, и чтоб она засияла, какой бы мрачной она ни казалась.

А может, он сейчас выйдет из подвала, где отсиживается, и скажет, что это и была жизнь?! Я плакала, и никто меня не утешал. Игоря не было в этой материальной сфере, его бесконечно запутанные счёты с жизнью закончились.

Прощай Игорь, камушек с твоей могилы я принесла домой.

ЧАСТИЦА НЕИЗБЕЖНОСТИ

Спасла бы Димента от разрушения любовь?

— Я в этом сомневаюсь. Это женский способ мышления, пустые слова: «любовь — спасает». Много вы видели спасённых? — так с лёгкой иронией говорил мужчина с царственной внешностью Вольтера, сидя в изящной позе в плетёном кресле, на открытой веранде в окружении двух других мужчин и трёх женщин. — Я думаю, что любовь к женщине скорее разрушает и порабощает мужчину. Все его действия, вся деятельность мыслей направляются на достижения целей, поставленных в зависимость от чувств, и человек попадает в капкан–ловушку своих желаний. Я не верю в целебную силу женской любви. Нет, ничего она не может спасти.

От всей внушительной наружности этого человека, — прямая линия носа, высокий лоб, глубокие тёмно–серые глаза, — от интонаций, слов, движений веяло уверенностью и независимостью.

Была середина лета, «день августовский таял». В роскошном поместье на берегу океана на Лонг Айленде в доме, стоящем на обрыве, спускавшемуся к океану среди глыб, нагроможденных на глыбы, хозяйка дома госпожа Е. Ф., отпрыск старинного русского рода из первой русской эмиграции, принимала гостей. Её друг, профессор искусствоведения «Вольтер» — Виктор затеял разговор о любви. «Разбирать за чаем внутреннею жизнь с почти незнакомыми людьми? Что из этого получится?» — подумала про себя Е. Ф., но вслух сказала с лёгкой усмешкой:

— Ну что ж, теперь будем говорить только о прекрасном и возвышенном. О моргеджах, рецептах, ресторанах — больше ни одного слова.

Покинув столовую, общество расположилось на террасе–бельведере с открывающимся видом на океан, со сводами, увитыми глициниями, вокруг большого стола, в сияющей мраморной поверхности которого отражались все участники послеобеденной беседы, вместе со старинными серебряными рюмками. В рюмках было вино, а вокруг целый океан воды, зовущий каждого гостя на размышления о времени, быстроте жизни, круглости земли, неистребимости проблем и неизвестно ещё о чём. Что кому придёт в голову. Океан и люди. Подслушивает ли океан разговоры людей?

Ритмичные звуки волн касались подножия укреплённой стены и, не смолкая, пенисто перешептывались, шепелявили, шипели, шебуршались, шелестели, насыщая воздух морским, чуть

слышным йодистым влажным запахом. Из рассыпчатых звуков волн слышны мелкие ритмы, и ещё ритмы, и ещё… до бесконечности. «Из нашей кипящей пены вышла богиня любви Афродита, и с тех самых пор люди страдают, мечутся, грустят, бегают. Почему? Их слёзы имеют вкус нашей горько–солёной воды. Среди грандиозных изобретений современной техники они потерялись, не знают: куда деваться? Где спрятаться? Чего хотеть? Как мелкая зыбь не касается нашей океанической бездны, так и ткань человеческой жизни не меняется с сотворения мира, изменяются только её узоры, одежда, вещи. И как часто их корабли тонут, а они лишь чинят паруса! В ничтожном тряпье видят великое…» Это шептали волны.

А что говорили люди?

Рядом с Виктором сидела женщина, изящная и необычайно красивая, с огромными бархатными глазами, в открытом сарафане, подчёркивающим приятную линию её плеч. Это гостья из Москвы, тоже искусствовед, приглашённая в Америку нью–йоркским музеем для консультаций по русским иконам. Она смотрит только в океаническую бесконечность… и весь её вид показывает, что она ничего не слышит и не видит, кажется, океан навечно завладел её мыслями. Её зовут красивым именем Ева. Неожиданно слова Виктора отрывают взгляд Евы от линии слияния воды и неба, она оборачивается к нему:

— Напрасно вы так говорите. С силой любви ничто не может сравниться, всё создано любовью. В любви всё лучшее, что есть в человечестве, вы… ничего не понимаете, — не вдыхаете в себя ничего светлого, ничего прекрасного…

— Можно ожидать, что Ева вот–вот произнесёт какую-то гадость в адрес Вольтера, но она сдерживается и только недовольно поджимает нижнюю губу. Красота диктует ей поведение, даёт свободу. Противоречие с её взглядами, непонимание её мнений вызывает в ней раздражение. Таких женщин мужчины не любят, хотя… это утверждение противоречиво.

Вольтер спокойно, подняв высокий лоб и посмотрев в сторону океана, небрежно восклицает:

— Где вы видели «истинную женскую любовь?» Только в романах о ней пишут, чтобы приукрасить людей. Любовь придумали провансальские трубадуры в эпоху рыцарских нравов… и с тех самых пор возомнили, что женщины вдохновляют, спасают. Всем известно, что мужчина испытывает то, что называется любовью, к каждой красивой женщине, а некоторые просто к любой юбке. Как говорит, всем известный Фёдор Карамазов, и Лизавету Смердящую «можно счесть за

женщину, даже очень…» Женщина сама нуждается в любви и… обрекает себя на разочарование, если будет мечтать о невозможном.

— Вы понимаете любовь, как лихорадочную чувствительность? как половое влечение? — усмехнулась Ева.

— А что же это, по–вашему? Стихи, вздохи, розовый туман? В глубине души каждый знает, чем заканчивается любовь. — Он отводит взгляд от собеседницы, резко опускает голову и грустно добавляет — Тупиком. Противоречия ума и сердца неразрешимы, и от этого нет никакого спасения.

— Ева говорит не о любви в мире тел, а о слиянии душ, — громко и жеманно вставляет миловидная женщина Марина. Она художница, её муж работает на Уолстрите. Марина разрисовывает ткани, обои, декорации. На ней платье собственного рисунка. Она большая щеголиха.

— Никто не отрицает, что есть любовь к родителям, сёстрам… и вообще. Пожалуйста, мы можем рассуждать об «интранзивной» любви — любви самой по себе, как таковой. Я только не верю в спасательную силу женской любви к мужчине, не думаю, что женщина возвышает. И Виньковецкая преувеличивает эти женские возможности. Женские чары часто ведут к разрушению.

— Вы никогда никого не любили, сударь. Я думаю, что вы не понимаете смысла любви. Без любви нельзя ничего делать, любое занятие делается только с любовью, — перебивает его Ева. — Помните условия апостола Павла? : «если любви не имею…»?

Тут из-за колонны раздаётся недовольный голос другого мужчины фотографа Фимы.

— Вот набросились на Виктора, а ведь он говорит правду: нет идеальной любви. Я думаю, что всё так перепутано, так омрачено лицемерием, тяжестью семейных обязанностей, выгодой, что можно ли найти любовь в наше время, освобождённую от предрассудков и условностей? Хочу посмотреть…

Фима так подчёркнуто–эмоционально это говорит, что может показаться, будто он только что перенёс женский обман или бракоразводный процесс. Совсем нет, он вполне счастливо живёт со своей второй женой, но, помимо фотографии, пишет стихи, и это скорее возбуждает сомнения, чем надежды.

Разговор перешёл от проблемы любви как таковой на новомодные отношения, которые захватили американцев и особенно американских дам.

— Теперь дань уважения считают оскорбительной, а уж какая там любовь! — скептически заметил муж художницы, программист Володя. — Посмотрите вокруг себя, какое сейчас

время — все на равных, женщина вступила в соревнование с мужчиной во всех профессиях, как на гонках. С ружьями ходят, вместо того, чтобы этими руками носить детей.

— Поэтому женщина делается скучной, на неё наваливаются обязанности, которые делают её с каждым днём всё истеричнее, — поддержал Фима.

— Посмотрите на защитниц женских прав, как они выглядят! Без игривости, грации, и они готовы любить? Да они вас растерзают… а если вы покажете, что их ножки нужно целовать, ведь они бьют этими ножками по футбольным мячам! Что-то всё перевернулось…

При этих словах послышался звук босых ног, и в дверях появились две хорошенькие американские девушки, — дочка хозяйки дома Катя, блондинка с длинными волосами и её подруга Мими, брюнетка с большими глазами. Они пришли с океана мокрые, весёлые. На их лицах никаких волнений и беспокойств. Они девственно–прелестны, как русалочки. Их упругие тела светятся сквозь морские лилии, спускающиеся с шеи до самых колен. И в сочном сплетении фиолетовых лилий, казалось, слышался шелест морских глубин.

В их отсутствие говорили громко, а тут вмиг все онемели. Мать представила девочек. Фотограф Фима побежал за фотоаппаратом — заснять, как он высказался, «золотых рыбок без голубых джинс». Но рыбки, не дождавшись его возвращения, поприветствовали компанию, и прошли в свою комнату, оставляя за собой водяные следы и улыбки гостей.

Виктор чему-то засмеялся и, выставив руку в воздух и приняв поэтическую позу, вслед красавицам прочёл стихи:

И вот они, о ком мечтали деды
И шумно спорили за коньяком,
В плаще Жиронды, сквозь снега и беды,
К нам ворвались — с опущенным штыком!

— Меня, пожалуй, растопчут, скажут, что я отсталый элемент. Мэн шовинист пиг. А спросите, хотят ли замуж милые золотые рыбки? Хотят ли они ухаживать за любимыми? Вдохновлять? Спасать?

Откуда-то сверху слышится шум, звенящий смех, воздушные хлопки аквалангов.

— Вот уже и реакция на мои слова! Сейчас потолок обвалится. И что скажут нам молодые американки?

Фотограф Фима с лёгкой иронией быстро ответил за них:

— Они нам докажут, что мужчина должен гладить

выстиранное бельё, а не их ручки. Что женщина ни в чём не должна уступать мужчине. И если вы её назовёте, к примеру, «моя птичка», то она вам ответит, что она человек, а не птичка. Наступает век распада. — Последние слова Фима произнёс вполне многозначительно.

Образовалась пауза. Хозяйка дома, не принимавшая в дискуссии участия, сохраняющая величественное достоинство, вдруг сказала:

— Я уважаю старые верования, а эта новая лавина глупостей меня огорчает. С тех пор, как мы приехали, в Америке, конечно, изменилось отношение к женщинам к лучшему, но сейчас это приняло бестолковый оборот.

На океане появилась чёрная полоса и уже стала обволакивать небо. Вокруг сделалось темно, вдали засветился огонёк уходящего корабля. И только пространство террасы, освещённое матовыми лампами, вставленными в потолок, оставалось светлым островком. Внезапно образовался резкий контраст между светом и темнотой. Зябкий ночной морской воздух стал пробираться под крышу веранды. Разговор рассыпался, гости, поблагодарив за вечер, стали прощаться.

И несколько спустя, взглянув на террасу, можно было рассмотреть только Виктора и Еву и, если прислушаться, то можно узнать о чём они говорили:

— Как вы думаете, Ева, понимают ли они, что такое любовь?

— В сущности любовь — это высшая сила, выше всего… и это и есть главная тема всех произведений, всего, что есть в мире… — тихо–тихо стала отвечать она, но замолчала. Её собеседник сидел за колонной, и свет появившейся луны, преобразил его лицо: оно стало мистически— бледным, застывшим, с невидимыми движениями черт.

— Я давно потерял всякую веру в свою и чужую правдивость и искренность. Меня всегда изумляло, как возможно взаимодействие между мужчиной и женщиной. Как различие между реальностью и воображением. В ежедневной повседневной жизни нужно мужество не героического дня. Жизнь искажается, как очертания предметов на колеблющейся воде…

Я ещё многого не могу понять и объяснить. — Он замолчал, и ничего не было слышно несколько минут. После паузы он погладил какую-то папку, лежащую перед ним, и сказал:

— Не удаётся привыкнуть к отсутствию друга, которого любил. — На несколько секунд он задержал дыхание. — Его природному добродушию оказалось не по плечу справиться с истиной жёсткой и холодной: «женщина стремится подчинить».

— Кто придумал это утверждение?

— Господин Кант.

— Потому-то он и не был женат, как и вы. Простите, я вас не буду перебивать, продолжайте.

— Во всяком случае, те женщины, которых мой друг выбирал для любви, будто всегда чувствовали своё духовное превосходство. Чем это объяснить и как это понять? На какие точки нажимает женщина, каких крошечных зон касается, что мужчина перед ней бессилен? И все знания философии, поэзии, науки оказываются ничем перед её безучастными касаниями пальцев, перед её слезами, истериками. Он влюблён. Команде любви он подчинился и погрузился в мир проникновенного страдания. Кажется Саше, что вот–вот прикосновение… и он может ей помочь. Какая несовместимость!

— Какие загадочные слова? — почти шёпотом спросила Ева.

— Никаких нет тайн, всё самое обычное. Возможно, что кое-кто из гостей был даже знаком с ним. Он преподавал русскую литературу в одном из колледжей и в прошлом году умер.

— Вы можете подробнее узнать, что и как я думаю… из моих попыток размышлений над его судьбой. Я записал отдельные на мой взгляд самые яркие события его жизни, и получилось что-то вроде повести. Если вы хотите, то я дам вам её посмотреть.

Она тихо ответила что-то, Виктор протянул ей папку и пожелал «спокойной ночи».

В мраморной поверхности стола уже больше ничего не отражалось. От полночного месяца, который появился во всей своей ночной красе, падал эластичный тонкий блеск, будто хвост кометы упал на океаническую поверхность, и отличить воду от воздуха стало совсем невозможно.

Потом Виктор спустился по деревянной лестнице вниз к пляжу и почти до рассвета бродил один в ночной свежести. Ева поднялась наверх в комнату и начала читать рукопись.

* * *

Я хочу поразмыслить о жизни моего друга — лингвиста и поэта С. К., с которым так беспощадно обошлась судьба, хотя, в отличие от Казановы–Димента, он любил с ужасом и нежностью, но его любовь к женщине не обернулась парением, а даже наоборот — приземлила, втоптала, растворила. В жизни есть много такого, чего мы понять не можем. Жизнь полна тайн, которые мы видим «яко зерцалом в гадании», и часто мы наталкиваемся на необъяснимые загадки. Может быть, есть цельный план, а наши единичные жизни составляют только часть, которую мы не знаем?

Не точными, но хотя бы приблизительными штрихами мне хочется изобразить оттенки его характера, доброту и

застенчивость, и какую-то незащищенность в этом мире. Конечно, я не могу вынести окончательных суждений о его жизни в своих несвязных воспоминаниях, но кое-что мне хочется прояснить.

Почему достоинства его возлюбленные женщины превращали в недостатки? Он не способен был долго гневаться, злиться, это было природное свойство его души, и они обращали его любовь, его стремления, чтобы «всё было хорошо, тихо, спокойно» — в слабость. И сейчас, когда записываю свои о нём мысли, при взгляде назад меня не оставляют сомнения: ведь часто невозможно описать то, что происходит в душе другого. Да и как показать? Ведь каждый человек вообще всюду находит своё бессилие, свою неудовлетворенность. Как посмотреть на скрытую от посторонних глаз каждодневнопроисходящую эволюцию?

Начну всё по порядку.

Мне суждено было долго прожить рядом с Сашей, знать его с детства, вместе учиться, дружить. Потом расстаться, казалось навсегда из-за его отъезда в Америку, но неожиданно после коллапса коммунистической системы вновь встретиться и находиться рядом с ним в последние дни его земной жизни. После его смерти мне достался Сашин архив, там были дневники, письма, черновики статей. И там хранилась его тайна.

Он мне поведывал свои мысли, стихи, и я иногда буду вставлять их в своё повествование.

Я оглядываюсь в наше с ним детство, где всходили истоки нашей дружбы, чтобы лучше поразмыслить о Сашиной и моей судьбе. Наша дружба скрашивала мне юношеские годы, и многие события почти не затрагивали нас, мы держались вместе, и это поддерживало нас против враждебного мира.

Саша был родом из профессорской семьи. Его отец заведовал лабораторией в Технологическом институте, чопорный и строгий. Выражение его лица свидетельствовало о воле и решительном характере.

Подтянутый, молчаливый и достойный. Сдержанный в общении. Мать преподавала английский в Библиотечном институте. Она была спокойная, добрая и очень красивая. Саша был их единственным сыном. Их семья жила в большой квартире на Петроградской стороне. Я встретился с Сашей, когда был в шестом классе, мы вместе ходили в шахматный кружок при Доме пионеров. Нам понравилось играть друг с другом в шахматы, и так подружились. В зимние вечера я стал приходить к Саше. Свои игры мы продолжали или у него в квартире, или у меня, и курсировали между его домом и моим. Его отца я встречал редко, он много работал и вечера проводил в лаборатории. Мне только запомнились его властные чёрные глаза. К матери Саши Асе

Романовне я относился с некоторым благоговением, как и к своей, она дышала обаянием. Мне кажется, что даже её голос был приятного тембра. Она всегда нас чем-нибудь угощала: вареньем из малины или слив, сгущенным молоком, конфетами. Ася Романовна играла нам на старинном пианино, садилась и импровизировала. Мне нравилось смотреть, как двигаются её руки, я любил музыку, но серьёзно заниматься музыкой не хотел, а Саша два раза в неделю ходил на занятия в музыкальную школу. У них в квартире были остатки античной мебели. Особенно мне запомнилось бюро с выдвижной крышкой и стулья с овальными спинками и резными завитками. Ася Романовна иногда присоединялась к нашим играм, предлагала нам игру «в города и страны», раскрывала большую карту и мы отправлялись путешествовать по миру. «Отплываем в Константинополь… нас встречает турецкий султан… Пересекаем громадные пространства Атлантического океана и приближаемся к Нью–Йорку. Тут Сашу и Витю встречает Статуя Свободы…»

В школе нас изумляла глупость наших товарищей. Мы читали книги — переводные, исторические, о которых они понятия не имели, и мы почти ни с кем не сближались. В коллективной жизни класса мы участвовали, но дома сторонились своих одноклассников. Всегда держались вместе, ходили на каток ЦПКО — Центральный парк культуры и отдыха, где «скользили по гостеприимной поверхности, и тепло разливалось под ушанками и свитером…»

Неустанная советская пропаганда, казалось, не внедрялась в наше сознание глубокими гвоздями. У нас было тяготение к независимости.

Одним из памятных событий в наши детские годы были дни смерти Сталина. Там, где наш переулок вливался в улицу, мы встречались и вместе шли в школу. Путь этот был для нас, как ритуал… И он остался самым длинным путём в жизни, и сколько бы мне не пришлось жить, всё равно это будет самое длинное время в моей жизни.

В тот мартовский день вся улица плакала, около репродукторов стояли чёрные люди и слушали сообщения. Что же будет?! Что будет?! — стонала одна женщина, и казалось, все молча вторили ей. И то там, то тут этот вопрос на лицах людей, все растеряны, убиты, беспомощны. Что же будет? Вопрос повисает в воздухе и летит по толпе, и люди будто сливаются в этом вопросе, как в экстазе. Горе, горе, всенародное горе. Ритуальные стоны по всей земле. В самом воздухе было что-то мрачное и тяжёлое. Умер Сталин. Всё в трауре.

Умер Сталин — гросс учитель,
Умер боженька в фуражке.

Крик безысходности: что будет? — пронзил меня и захватил. И на какое-то время во всём моём существе ничего больше не было кроме чувства страха, что же будет? В этой полнейшей беспомощности было даже что— то мистическое. Подобного единения с толпой и такого наслаждения от этого слияния я потом никогда не испытывал.

Саша в этот день в школу не пошёл, у него была температура, и я увидел его только вечером, когда пришёл навестить. Ася Романовна была расстроена Мишиной болезнью, отца Саши не было дома. Я сказал Саше про свои страхи «что же будет?», но он был болен и ничего мне не ответил. Саша холодно и презрительно относился к психологическим эпидемиям. Я больше поддавался, Саше помогала литература. И он на меня влиял…

Через несколько дней Саша, когда я пришёл к нему, достал газету с похоронами и показал мне лица вождей вокруг гроба вождя: «Посмотри, они улыбаются… Горя на их лицах не видно». Я не мог этому поверить и не без страха стал смотреть в газету и вдруг усмотрел в чертах наших великих людей полное равнодушие и даже радость.

— Эти люди не в трауре, а наоборот, они расслабленные — говорил Саша с озадачившей меня улыбкой. — Знаешь, мама говорила отцу будто её знакомый переводчик слышал по Би Би Си, что вождь умер раньше, чем было объявлено людям. И ещё она говорила, что наша родственница Нина ездила в Москву на похороны и видела, как много людей погибло, задавленных горем, рвавшихся к гробу… На слове «гроб» раздался стук в дверь.

Саша быстро кое-как свернул газеты и сказал: «Да». Вошла Ася Романовна, держа в руках тарелочку, на которой лежали два пирожка. И я и Саша молча, не опуская глаз, смотрели на неё.

Она удивлённо и с любопытством тоже смотрела на нас. Взгляд её был тревожным, сосредоточенным, точно совсем чужим. Мы непривычно долго смотрели друг на друга. И это было странно. Она, видно, чувствовала, что нам нужно что-то сказать, но не знала: как сказать и что сказать?

— Никому это не показывайте и ничего не говорите! Это опасно, — наконец, произнесла она почти шёпотом, прервав столь необычное молчание. Голос её тревоги вышел откуда-то из-под сердца. Мы ничего не отвечали, сидели молча. Она свернула газеты в рулон, поставила на их место пирожки и, забрав с собой газетный свёрток, вышла. Это было символично: молчите и

получите пирожки. Эта сцена с пирожками, Сталиным и газетой время от времени мне вспоминается как мой первый приход в сознание. Что-то зародилось в душе потаённое, неощутимое, другое. Придя домой, я ещё раз взглянул на снимки в газетах. Посмотрите на эти старые снимки, и вы всё сами увидите. Но народ, обезумевший от горя, вперяет свой взор в пустоту.

Позже с глубоким смущением и некоторым ужасом мы узнали о вступлении наших войск в Венгрию. У нас внутри вспыхнул мятеж: как обманывают народ, доверие моей матери. Как всё доверие оборачивается обманом. Какая правда? Саша тогда процитировал мне стихи:

> Здесь красная кровь заливает асфальт,
> Здесь русское «стой!» как немецкое «хальт!»

Сейчас, когда пишу, испытываю жалость к моей бедной матери, верившей вместе со всем народом Сталину, коммунистическому идеалу. Я испытываю глубокую ненависть к тем, кто привёл её к внутреннему, невидимому конфликту со мной. Я уходил от патриотизма, под влиянием книг и Саши. Мысленно спрашиваю себя: можно ли возложить на мою маму вину? Как и на те миллионы ей подобных? И спросить про причины… И можно ли было изменить ход вещей?

Она осталась вдовой после войны с двумя сыновьями, не вышла замуж, принесла себя в жертву сыновьям, работе, идеалу… Она так и не вкусила радости жизни, не разделила со мной разочарования и не узнала, что я не исповедую её веры. Я боялся с ней делиться своими взглядами, чтоб её не напугать, мой язык ей был непонятен. Мне становились чужими все её страхи. Как-то она всего боялась, верила разным глупостям, какими забивали всем головы! Мы жили в разных плоскостях. Мир моей матери: «от советского информбюро…» до «танго, эта старая пластинка…»

Мама умерла сразу после того, как я окончил институт. Впрочем, возможно, я бы в дальнейшем её убедил. Прошли разоблачения. Наш новый вождь — полу— коммунист полу–реформатор — прочёл свои обвинения, ошарашив верующую публику. Я уже начинал издалека проводить «свою пропаганду», переворачивать её мировоззрение. Ведь она меня любила и хотела постигнуть мои устремления, потому слушала, хотя и боялась. Но я не успел открыть до конца ей своего сердца. После смерти матери я был близок к женитьбе, ощущение одиночества, желание не оставаться одному толкали меня на этот шаг, однако, моя избранница, дальняя родственница моего отца, уехала в экспедицию, а за это время женился мой брат. Женитьба брата

излечила меня от ощущения одиночества и желания семейной жизни. По возвращению из экспедиции моя приятельница, оказалась влюблённой в другого, мы остались друзьями, а я — «свободным художником».

Вернусь к Саше и к описанию атмосферы нашей юности.

У Саши были отличные успехи в школе, особенно он выделялся своими способностями к иностранным языкам и литературе, (Он остался верным своим школьным увлечениям, поступив в институт иностранных языков. Я выбрал для себя историю культуры.) Сашу влекло к изучению языков, лингвистики, слов. Его знакомство с поэтами, писателями ширилось изо дня в день. От Сашиного деда осталась библиотека, в которой были оригинальные, старинные книги, даже на иностранных языках. Помню на испанском Дон–Кихота, на английском Байрона… Я не знаю, как эти книги сами выжили, но в условиях книжного террора они выкармливали наше мироощущение. Саша читал в подлиннике Шекспира, и его память хранила множество поэм и стихов. Иногда он цитировал стихи по–английски и выражал восторг при каждом прекрасном стихе, хорошем слове. Влияние поэзии оживляло и вдохновляло его. Он хочет проникнуть в гармонию стиха и сам хочет быть поэтом. Саша подражает китайскому, японскому стилю, хотя в подделке есть ложь, но это даёт пищу его фантазии. Как-то он начертил на бумаге все стихотворные размеры, а над письменным столом повесил свои магические стихи. В них было нечто виртуозно–манерное, но Саша искал жизнь в мире слов и хотел строить словесные храмы.

Одним зимним днём Саша пришёл ко мне совсем неожиданно, в это время он должен был быть на занятиях музыкой. Я и сейчас слышу его мягкий приглушённый голос, которым он мне сообщает: Витя, у моего отца есть другая семья! Он донёс до меня эту тайну в уголке у моего письменного стола, присев напротив меня, и виновато на меня посмотрел, потом склонил голову и опустил глаза. Мы долго молчали, потом я спросил: «Откуда ты знаешь?» Он достал из кармана сложенный листок бумаги, выглядевший как документ, не написанный от руки, а напечатанный на машинке.

Я запомнил почти дословно начало того письма, которое мне показал Саша. «Уважаемая…, женский комитет нашего института уведомляет вас, что ваш муж сожительствует с одной из сотрудниц…» Саша замялся.

Заботящиеся о моральном облике сообщали все подробности встреч и призывали Асю Романовну укрепить свою семью. В сущности, непонятно — к чему они это сообщали? Из

соображений причинить боль? Из-за правды?! Я не знал, как мне вести себя.

В эти годы было много людей–утаителей, годами ведущих двойную жизнь. Разводы грозили увольнениями. Забегая вперёд скажу, потом оказалось, что возлюбленная Сашиного отца не хотела уходить от мужа, и тоже вела скрытую жизнь. Ася Романовна плакала, но ничего не сказала Саше. Она стала увядать, и мы не понимали с чем связано её состояние.

Насколько я мог заметить, Сашин отец Ефим Петрович будто бы соревновался с Сашей. Он не одобрял Сашиных увлечений поэзией, философией, литературой. Он часто подтрунивал над Сашей, что тот не унаследовал его способностей к точным наукам, и ни в грош не ставил Сашины лингвистические занятия. Е. П. недолюбливал иностранные языки и считал, что Саша неправильно выбрал профессию. «Нужно заниматься физикой, математикой, экспериментами, а не пустой болтовнёй», — презрительно говорил он. Я не буду углубляться в мифологические объяснения их взаимоотношений, потому что мало верю в разного рода спекуляции на тему взаимоотношений отцов и сыновей.

Я рос без отца, но воспринимал это как само собой разумеющееся. Я больше страдал оттого, что во дворе большие мальчишки не хотели со мной играть. Считаю, что из шалопаев вырастает приличных людей нисколько не меньше, чем из послушных и воспитанных. И никто не знает, как когда и почему всё оказывается. Мы не выбираем место рождения, не выбираем родителей, но потом в самый краткий квант нашей жизни может встретиться что-то такое, что переворачивает всё наше содержание и с избытком вознаграждает всякую нужду, перестраивает и направляет нас. И тогда мы обязаны только сами себе.

Что осталось от нашего детства? Саша оставался всю жизнь ближе к своему детству, чем я.

Два лета перед окончанием школы мы провели вместе на даче Сашиного деда в Лисьем Носу на берегу Финского залива, где купались в холодной воде, прятались в песчаных дюнах, но чаще сидели на «нашем» валуне, который мы обнаружили в одной из нашей прогулок. Этот громадный валун из гранита, оставленный ледником и одиноко стоящий среди сосен, был единственным нашим слушателем. Наверно, он улыбался, слушая наши размышления о законах жизни. «Эти молодые люди хотят слишком легко принять жизнь. На твёрдом граните едят, взятые с собой бутерброды, а волшебные замки строят на песке».

Волны набегают на берег,
Неуловимые и быстротечные,
Как время, как красота

— читал мне свои стихи Саша.

Море дышит полной грудью,
В шляпе нищего цветы …

Смерть Сашиной матери в середине лета. Я был на летней практике, и Саша сообщил мне об этом, тихонько всхлипывая, в тот день, когда я пришёл к нему. Бледный, уставший, измождённый Саша припоминал всё, что его с ней связывало, как мать его любила. На пианино был надет чехол, и на нём стояла фотография Аси Романовны в молодости где-то на Кавказе среди пальм. Весь облик Саши шёл от матери: разрез глаз, строение рта, цвет лица, да и характером тоже был он удивительно на неё похож: мягкий и добрый. Я не мог сказать почти ни слова, и мы молча сидели друг напротив друга. Он взглядом показал мне на туфли, стоящие около трюмо, и сказал, что в них она всегда ходила в филармонию. На кресле лежала её муфта из чернобурой лисы — подарок Сашиного отца Асе Романовне в годовщину свадьбы. Сейчас муфты женщины не носят и не знают, что это такое, а наши матери тогда носили их вместо перчаток, кошельков, сумок. Муфты хранили тепло, записки, телефоны, весь женский мир.

В пору пробуждения полового инстинкта у нас был сокровенно–личный стыд и спокойный взгляд на мир вожделения. Об интимных отношениях с женщинами мы узнавали из литературы. Наше отношение к женщинам не было живым, как я сейчас понимаю, мы наблюдали всевозможные явления, но без всякого житейского опыта. Свои эротические желания мы направляли на другие желания, хотели диалога, ответа, любви. Сексуальные позывы тела прятали, отстраняли, жаждали коммуникации, понимания. Какие-то студенческие пирушки, туристы у костра, все братья и сёстры. Мы не переходили созданных условностей, хотя часто хотелось их перейти и узнать «мятежные наслаждения».

Только со временем я кое-что понял про взаимодействия между полами, а тогда радостная непосредственность, наивность не давали мне увидеть ни горечи жизни, ни наслаждений.

В мастерской где-то в районе гавани у скульптора Иллариона Салуна Саша впервые увидел Инессу. Я писал дипломную работу

о современном искусстве и знакомился с художниками, скульпторами, архитекторами. Скульптор — рослый, красивый, с чёрной бородой, одетый в блузу — заканчивал работу, а модель сидела в белой робе–накидке. Он лепил её, она позировала.

Чуть раскосые, «голливудские» скулы в сочетании с матовой бледностью кожи и миндалевидными византийскими глазами делали её обворожительной. В её лице не было обыкновенности и простоты. Холодное, ясное спокойствие придавало ей аристократический вид. Она пришла в восторг от наброска, пошла переодеваться и, быстро взглянув на нас, исчезла за ширмами. Илларион показал нам этюд. Вся её фигура была создана для восхищения. Мы несколько минут любовались линиями этого тела. Красавица вышла из-за загородок, посмотрела на нас и обрывисто, вскользь насмешливым тоном спросила Иллариона:

— Это что ещё за дошкольники?

Вместо белой накидки на ней было синее короткое мини–платье с разрезанными рукавами, на шее тонкий шифоновый серый шарфик, туфли на шпильках, как называли тонкие–тонкие каблуки. Боже мой, какие ноги, какая модница! К таким красоткам страшно подходить. Как-то раз мы с Сашей зашли в валютный магазин, Сашин дядя, океанограф, ездил за границу и подарил нам несколько валютных бумажек. Там я видел подобную красавицу, стоявшую за прилавком, та тоже нас окинула оценивающим взглядом и иронично–призывно произнесла, пробарабанив наманикюренными длинными пальцами по краю стола в такт словам: «Ма–ль–чи–ки! То–ль–ко за бо-ны!»

Вместе с покупкой двух нейлоновых рубашек я навсегда унёс из этой лавки тот иронично–двусмысленный призыв, смущение, смешанное с неприязнью. У меня, как я понимаю, возник иммунитет–отчуждение против таких отменных красоток.

Тем временем модель достала сигарету, вставила её в длинный–предлинный мундштук и закурила. Ни я, ни Саша не могли найти никакого достойного ответа на «дошкольников». Эта красотка была вовсе не старше нас, но как метко нас отстранила.

Илларион просто и бодро сказал:

— Инесса, это молодые журналисты Саша и Виктор.

— Они пишут для журнала «Мурзилка»? — с лёгкой усмешкой продолжала она нас дразнить, держа во рту мундштук. Поправила чёлку, глаза устремила куда-то вкось и села в позу, при которой её ноги и руки слились в скульптуру, изображающую роковых женщин двадцатых годов. Такая изумительная Вера Холодная. Она, казалось, была влюблена в свою фигуру, губы, в

свой голос, во всю себя. И мы тоже замерли в восхищении.

— Нет, — вдруг сказал Саша, решившись дать ей отпор, мы работаем для «Вечернего Ленинграда», — слово «вечерний» он выделил интонацией.

— И мамы отпускают вас после девяти вечера? — продолжала она колко иронизировать. Казалось, она считала себя обязанной относиться к нам с насмешкой.

— Инесса, перестань смущать наших молодых учёных, они — из другого профсоюза, — вступился за нас Илларион, и, перейдя на фамильярный тон, стал её укорять:

— Старуха, ты никогда не видела приличных людей, вертишься с фарцовщиками, боксёрами, с разной шпаной — вот тебе и кажутся нормальные люди… дошкольниками.

С наигранным изумлением, не обращая внимания на слова Иллариона, вытянувшись в кресле, подперев руками голову и приняв новую позу египетской статуи, она интимно–лукавым голосом сказала:

— А я решила, что ты теперь лепишь пионеров.

Я был смущён и несколько раздражён, а Саша смеялся — Ну, что ж, «пионер, не теряй ни минуты», — почти пропел он голосом, окрашенным его удивительной интонацией. — Мы приступим к интервью, — давая понять, что ей пора уходить, а нам работать.

Не ожидая от дошкольника такой реакции, она язвительно–насмешливое отношение сменила на лёгкое заигрывание, и к Саше несколько раз обратилась: «Дурашка». Выкурив сигарету, она стала прощаться, подошла к скульптору и поцеловала его. Потом повернулась к Саше и прощебетала:

— Дурашка, от поцелуев не рождаются дети.

А дальше, я был поражён её невысокомерным поведением — после всего иронично–презрительного она вдруг удивительным образом всё переиграла и вся переменилась — она пригласила нас посмотреть её художественные альбомы.

— Мальчики, у меня есть для вас кое-что посмотреть… раз уж вы такие знатоки искусства. Сальвадор Дали, Гоген… Дайте ваш телефон! — я заметил, как она протянула свою руку Саше и, замерев, широко раскрыла свои миндальные глаза, шарфик из тончайшего батиста, который был слегка накинут на её шею, сполз к её ногам. Она стояла как вкопанная, ожидая: кто же из нас поднимет этот талисман. Доли секунд прошли, Саша наклонился, шарфик оказался в его руках. И он, подняв к ней лицо, сконфуженно держал его. Она глянула на него и с игривой кокетливостью проворковала: «Дурашка, я буду тебя ждать!»

Магнетизм, который мы совсем не учитывали и не понимали, — воздействовал. Шёлковый шарфик обмотался вокруг Сашиной

шеи. Он влюбился по уши в эту ядовитую красавицу.

Она была права — мы наивные, дошкольники, и ни Толстой, ни Достоевский, ни Гёте со страданиями Вертера и Лоттой, кормившей птичку из своих губ, чтобы через касание–клювик прикоснуться ко рту другого, нас мало научили. Это были абстрактные, теоретические знания. А она, которая никакого понятия не имела о всех этих книгах, науках, поэзиях, знала, как пройтись в рейтузах в обтяжку, как вставить два–три модных слова, бросить лёгкие замечания: «Пастернак, Ахматова, Марина Цветаева». Как потом писал Саша: «Вчера на улице встретила Мроцкого». «Выступает маститый поэт Моржавин». «Вы купили билет на концерт Петушенко?» Она интуитивно знала науку жизни, о которой мы не имели никакого понятия. В жизни есть необъяснимые правила, ритуалы овладения, и они не рассчитываются по формулам. Касанья мягких тел, касания зрением — глаза в глаза, втягивание в воронку другого — сколько спектров этой сексуально–эротической науки!

После её ухода скульптор сказал нам, что Инесса — «жутко умная, клёвая чувиха, но с характером», что она дочь дипломатов, живущих в Москве, а тут она учится в институте киноинженеров.

В последующих событиях инициатива шла от Инессы. После первой нашей совместной встречи она позвонила Саше, и уже без меня, я был чем-то занят, они отправились на какой-то вечер, смотрели альбомы, гуляли по городу. И что это? И это всё. Он потерял голову. У меня Инесса возбуждала двойственное отношение: мне нравилась её внешность, способность проявить интерес, острота, но что— то меня от неё отталкивало. В глазах вдруг сверкнёт острый холодно–коварный блеск. Видит ли он это или не видит?

Спустя две недели после нашего знакомства у скульптора, в конце лета, у Саши был день рождения, который он задумал отпраздновать на дедовской даче, где мы проводили летние каникулы. Эта дача–дом досталась по наследству от родителей Аси Романовны. Дом был бревенчатый, добротный, с многочисленными пристройками, стоял прямо на берегу залива. Часть дома иногда сдавалась, но сейчас весь дом был свободен, и ничто не мешало провести вечеринку. Саша пригласил кое–каких наших приятелей. Но главное, он пригласил Инессу. Он так волновался: приедет ли она? Всё готовил, накрывал, покупал, суетился. Волнение переполняло его, и пот катился с него градом. Я почему-то не сомневался, что приедет, что она уже заинтересовалась Сашей.

Нам повезло, была тёплая приятная погода, приехали несколько ребят, и все болтали на безразличные темы. И вот она

появилась… Её пепельно–русые волосы ниспадали по обе стороны, в народе называли эту причёску «Колдунья», платье на ней было изумительное — фисташкового цвета, с высокой талией, и эти вавилонские глаза и голливудские скулы. Она была так изысканно красива, что просто… бери кисть и рисуй. А как оттенялись её глаза цветом платья! Они приобрели неземной иссиня— зелёный цвет. Её изысканный вкус к одежде, к вещам в подавляющей нашей простоте и безвкусице бросался в глаза.

В этот раз Инесса была в приподнятом настроении, придавала своему голосу ласковость, обольщала, играла, кокетничала. Она показывала себя, своё тело, и взгляд Саши, смотрящий на неё, ловила и похищала.

— Вот тебе, дорогой, коричневый кожаный блокнотик. Будешь писать стишки.

Последнее она добавила не без иронии и засмеялась.

— А вот и авторучка из-за границы.

Во время прогулки вдоль залива, вода в котором была серо–нежная, а воздух такой редкой прозрачности, что отчётливо виден был купол Кронштадтского Морского собора, все разбрелись по берегу. Инесса, я и Саша опередили приятелей и добрались до громадного гранитного «того» валуна, знавшего наши детские тайны. Валун точно так же лежал себе и лежал, и если можно сказать о камне, то, как и раньше, он был строг, угрюм и одинок.

«Давно не виделись с тобой, старик! Ты не изменяешься, ведь ты не принимаешь участия в жизни», — шутливо сказал я и погладил нашего любимца.

Инесса, забравшись на него, села и, приняв позу полу— лотоса, стала произносить:

— Я люблю созерцать. Я в душе необычная, удивительная.

Мне показалось, что «наш» валун проворчал что-то недовольное: от него отвалился небольшой кусочек кварцевой жилы, и произошло чудо — он изменил свои очертания, на граните образовалась щербинка. Инесса задела его своим острым каблуком.

Один мужик ловил рыбу, стоял в воде и закидывал леску далеко–далеко. Пока мы смотрели на рыбака, он сменил несколько наживок, и при нас ничего не поймал. В моей памяти отпечаталось, как Инесса, грациозно и ловко перепрыгивая с камня на камень, посмотрев на него, сказала: «Какой дурак, не знает где ловить?!»

Оглядываясь назад, я всегда поражаюсь, какую большую тонкость и ловкость проявляют «они» в распознавании: кто есть кто, кто способен их полюбить и подчиниться. И как выбирают себе партнёра–жертву, как мгновенно приспосабливаются к

ситуациям, околдовывают. И если такая красотка вас приманила, то тут не помогут никакие вычисления, никакие таблицы, никакие иностранные языки, ни синусы, ни косинусы. Пишу это задним числом после пережитых иллюзий, тогда я ведь так не смотрел, потребовались годы, чтобы всё переосмыслить и пройти через разные мистерии.

Тогда у залива Инесса так искусно расположила нас разговором о дружбе, пытаясь привлечь меня в союзники — достичь соглашения в чувствах :

— Как хорошо, Саша, что у тебя есть друг! — с пафосом произнесла она, а потом жалобно добавила: — Только я одна на всём свете! — И при этом она чуть не заплакала.

— У меня бывают такие необычные состояния, которые мало кто может понять. Где те люди, которые всё так чувствуют как я? Я будто бы вижу мир с другой стороны. Я погружаюсь в себя. Я представляю себе удивительные картины, я общаюсь со звёздами, с другим миром… Вы не можете представить, — говорила она, и… понеслись астралы, Брамапутры. Одним словом, мадам Блавацкая.

Саша слушал и не слушал, он замирал. Она бесконечно говорила и говорила о своих состояниях.

Я ответил:

— Если человек не может выразить свои состояния в словах или в красках, то другим трудно понять о чём идёт речь, да и ему самому мало что понятно. Что не выражено в художественном произведении, того и нет, это — не сотворённый мир.

— Вы должны понять, что все люди разные, — твёрдым настоятельным голосом возразила она. — Что у всех свой взгляд, — продолжала она нас поучать, как будто этого никто не знает. — Я вижу то, чего другие не видят.

И действительно, она видела во всех дурные стороны, моментально находила пятна в других людях и сразу давала язвительные характеристики людям. Но в тот вечер она хотела обворожить и обольстить Сашу, понравиться, много смеялась, разносила всем стаканы, наливала вино, вела себя подчёркнуто внимательно. Не всякое внимание, как я теперь понимаю, обещает что-то хорошее.

В конце вечера Инесса предложила предсказать всем судьбу по руке и интимно–приглушённым голосом обратилась к Саше:

— Сашенька, дай твою руку, я по ней погадаю.

Инесса села в массивное кресло с резными украшениями, Саша подсел к ней, припал на одно колено, опустил голову, как перед царицей. Она взяла его руку и близко подвинулась к Саше. Мне показалось, что Сашина рука дрожала. Что чувствовал Саша,

я не знаю, но он побледнел и смотрел на неё снизу вверх, как на богиню, как на Венеру. Она что-то говорила о долгой жизни, счастье…, а в конце гадания взяла двумя руками его ладонь и тыльной стороной поднесла к своему лицу и приложила к своим губам. Её губы коснулись его руки… Я подарю тебе вечность! «Порывы пылких ласк!»

Саши уже не было в нашем пространстве. И пошли разные события.

Через месяц Саша женился на Инессе. Я понимал, что он делает это зря. У меня с самого начала шевелилась мысль сказать ему об этом, но разве я мог? Ведь он был во власти томительно–страшного наслаждения, и как я буду выглядеть? То, что она не любила Сашу, было видно, она едва–едва соблюдала приличие.

Почему она вышла за него замуж? Её эстетический идеал мужчины не совпадал с Сашиной внешностью с его милой и кроткой улыбкой, с его добротой. Ей скорее подошёл бы отец Саши, холодный и загадочный. Привлекали её люди сильных и грубых страстей. Вокруг неё вертелось много разношёрстного сброда, но она искала выхода из своей ситуации в благополучном браке и остановила свой выбор на Саше. Инесса жила вместе с тёткой где-то у Нарвских ворот в одной малюсенькой комнатке в громадной коммунальной квартире, где не было не только телефона, но и горячей воды. Легенды о дипломатических родителях остались бродить среди её знакомых. Она так притворялась, создавая разные истории о своём происхождении, умениях, что сама начинала верить в свою избранность. Я могу сказать только то, что её мистификации действовали на людей. И видя и осознавая своё воздействие, она не хотела промахнуться. Вот тут-то и подвернулся Саша — приличный, влюблённый, обеспеченный. А разве молодой человек, воспитанный в тепличной домашней обстановке, может распознать опасность красавицы, даже если весь её облик оповещает об этом? Ведь в ней всё говорило: «Я обладаю красивым телом, и я господин, а ты раб!» Но кажется, что красота — это идеал возвышенного и доброго, и не хочется ждать обмана в красоте. И человек уже очарован. И уже несвободен и ничего не боится.

Красота давала ей самомнение, она умела всех ставить ниже себя: «Я одна на всём свете». Так думала она, когда в четырнадцать лет она убежала из дома и ехала жить к тётке. После смерти её матери отец женился, и Инесса не хотела с ними жить, по одной из её версий: по другой, отец со скандалом выгнал её из дома. Она ехала три дня в поезде Красноярск — Ленинград и тогда открыла, что она никому не нужна, ни одному человеку, даже если она потеряется, то никто её не спохватится. Все три дня

она плакала, лёжа на верхней полке. Её пожалели спутники по купе, муж и жена, предло–жили спустится и поесть, но она отвернулась к стенке, не сказав им ни единого слова. Горечь, какую она испытала, навсегда осталась фоном всей её жизни. Холод окружающего её мира охладил её сердце. С тех самых пор она никому не доверяла и никому не верила. И с тех самых пор кроме «нужно выжить», ничего её не трогало. Она принялась сражаться с миром, хитрить, прилаживать и обманывать.

«У меня было тяжёлое детство, и все должны мне сочувствовать, принимать всё, что я делаю, и прощать».

Так Инесса и едет по жизни в том самом поезде, и смотрит с верхней полки сквозь призму своих детских обид на всех, и не спускается разделить трапезу. Бесплодная любовь к чему-то ей недостав–шемуся осталась в ней навсегда, к чему-то такому возвышенному, чего нет в её жизни, к тому краси–вому, что должно свалиться с неба, к невстретив–шемуся мужчине, который был бы её достоин. «Никто меня не достоин!» Всегда в душе досада, что она что-то упустила. Где-то другие, совсем не такие умные и красивые женщины, получают от жизни то, чего ей не досталось, что жизнь её обидела, и она должна за это отомстить. Кому? Она отворачивается от людей и разглядывает в них только бацилл. Какая у неё невероятная склонность к развенчивающим наблюдениям! Она не хочет и не может прощать людям их некрасивости, их несовершенства.

«Какая у него уродливая походка! Как загребает ногами! А этот, идиот, так глупо говорит… А эта устрица в фабричной одежде…», — вворачивает она язвительные колкости. — «Лимитчица, приехала из…» — Хотя сама приехала из глубокой провинции.

Особенно доставалось хорошеньким: «Писюхи, плешивые уродины. Сколько блядей набрали!» — комментировала она, проходя в институте мимо красивых девок в мини–юбках.

Если мужчина был успешный или знаменитый, то от его жены или спутницы мало что оставалось: «И что он нашёл в этой каракатице? Титьками торгует! Толста, как налим! Золота навешала, а шея грязная», — с завистью иронизировала она. Все приличные мужчины достойны только её.

С самого первого дня их семейной жизни Саша был в рабстве у Инессы, в тисках её решительного и властного характера. Она показывала Саше, как ему повезло, что она умная, опытная, выносливая, знает жизнь, и ему остаётся лишь ей подчиниться. Что высшая справедливость требует выполнения её желаний, полного покорения её мнениям. «Даже Б. Б. считает, что я умна, и прислушивается к моим представлениям».

Саша начинает стесняться высказывать свои взгляды, потому что если что-то не нравились Инессе, то она тут же при всех начинала его осмеивать. Она делала всё, подчёркивая, что она главная. «Дурашка, принеси… Ты слышишь, что я тебе сказала». Если он нарушал её педантичный порядок или чистоту, то она осыпала его упрёками. «Какой ты невоспитанный! Как ты не собран! Какой ты мягкотелый!» В её отношении к Саше было чуть скрываемое раздражение, ей не нравилось, как он сидит, как стоит. Ежеминутно она отрезвляла его словами, взглядами. В ссорах она отыскивала какой-нибудь пустяк, цеплялась за него, как за правоту и доказывала Саше, что он не прав. Инесса никогда ни в чём не считала себя виноватой или несправедливой. «Я всегда всё делаю лучше всех, у меня вкус, я лучше всех шью, готовлю, я самая духовная» и, одним словом, какая я замечательная!

Как-то в моём присутствии Саша на недовольство Инессы беспорядком на его письменном столе ответил:

— Шиллер писал стихи, вдохновлённый запахом гнилых яблок, потому что запах соединяет нас со всей природой и непосредственно обращается к эмоциям.

— Но ты не Шиллер! — брезгливо парировала она. — Ты сам гнилое интеллигентское яблоко, и никакой запах тебе не поможет. Даже гвоздь вбить в стену не можешь.

— Злоба — самая дорогая роскошь в жизни, — отшучивался Саша, — И у меня такая роскошная жена!

Я боялся, что его самолюбие страдает, когда в моём присутствии он вынужден был выдерживать насмешки Инессы, и иногда из-за сострадания к нему я даже пытался её оправдать:

— Саша, надо сознаться, что исключительное занятие изящной литературой ослабляет способности, необходимые для практической жизни. Романтика — тоже дорогостоящая роскошь.

— Предрассудок, что человек, занимающийся философией, поэзией, не способен ни на какое деловое занятие, до сих пор распространён, — научным голосом возразил Саша. — В числе банкиров поэты Роджерс, Рикардо…

— Перестаньте болтать, тоже мне нашлись банкиры— теоретики!

— Конечно, Инесса права — мы теоретики! Давайте съездим втроём за город и…

Я, как и Саша, ловил себя на том, что тоже ей хотел угодить, как-то успокоить, посмеяться, пошутить. Мне самому странно: почему злоба вызывает желание задобрить, услужить?

В один из вечеров на даче Инесса села к печке в то самое массивное кресло с вензелями, в котором год назад держала

Сашины ладони, зажгла сигарету и от этой же спички подожгла листок, а потом медленно бросила его в огонь. Мы с Сашей сидели чуть в стороне и не сразу заметили, что она делает. Она спокойно брала листок за листком и один за другим бросала их в печку. Она сожгла пачку Сашиных стихов. Озарённая вспыхнувшим пламенем, с блестящими глазами, бледным лицом, она напоминала колдунью. Листки сжимались и образовывали узоры. Она уже не скрывает, что он её раздражает, и на вопрос: «Где рукописи?» Она спокойно и холодно отвечает правду:

— Я их сожгла. Они мне не нравились.

— Но ведь это не твои стихи…

— Они посвящены мне и я не хочу, чтобы они ходили в мире. Такие идиотические. «Твой терпкий вздох моя отрава…» Тоже мне Шекспир!

Иногда она высказывала больше здравого смысла, чем мы. Но чаще могла только с блеском унизить, примитивными словами прикрыть интересный разговор, переведя его в обыденность, могла погасить любую мысль своими тяжёлыми высказываниями без апелляций, без размышлений, но… не могла ничего создать, сотворить. У неё нет творческого начала. Она не может быть сама довольной и никому не может дать «довольности». Ей нечем делиться, разве только льдом своей души, и её характера хватает только, чтобы уничтожить, сжечь, а не оценить, не вдохновить. У неё есть воля и твёрдость, но они обращаются против неё. Она дерзновенней и сильнее мужчин, но её внутренняя сила не приводит к созданию, не несёт никому счастья и ей тоже.

Литература, живопись ей совершенно безразличны, ничего её не трогает, но сколько претензий на интеллектуальность! В квартире на стене она повесила портреты Хемингуэя и Марины Цветаевой. На выставке в Эрмитаже она без зазрения совести объясняла нам содержание картин: что здесь изображено, какие краски, колорит. Она могла копировать интонации, общеизвестные, избитые фразы произносить так, как будто это только ею открытые истины. Вступала в яростные споры и по любому поводу высказывала своё амбициозное мнение, как всезнайка, говорящая обо всём, но глубоко ничего не знающая. Она мало что понимала в стихах, кажется, не прочла ни одной строчки, но как мастерски могла вставить: «Сжала руки под тёмной вуалью». Повторяла твёрдым голосом красивые слова. И не для того, чтобы учиться, стать умной, а чтоб обмануть себя и других. Со временем я не мог слышать звук её ни в чём не сомневающегося голоса.

— Как меня все любят! Илларион считает, что никто не устоит перед моей красотой! Все…

Все в неё влюблены, а она — нет! Она презирает их за слабости, за любовь к ней.

Инесса будто бы создана, чтобы внушать любовь, но сама не может полюбить. Неудовлетворенность злыми складками переносилась на её красивое лицо. Волшебство её красоты для меня исчезло, ведь красота нуждается в бережном обращении, и одарённый красотою должен хранить этот дар.

Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому и шарить в пустоте…

Я стал избегать совместных встреч, мне было невыносимо видеть Сашу рядом с ней в его унизительном состоянии. Со мной Инесса сделалась довольно холодна и, конечно, настраивала Сашу против меня, против всего непонятного ей мира и прежде всего против него самого — ссорила его с самим собою. Она вмешивалась своими длинными пальцами в ту внутреннюю тонкую, колеблющуюся гармонию, которая то возникает, то исчезает в нас, внушая ему, что он жалок, «у тебя нет таланта… нет воли», усиливала в нём неуверенность, вырывала с корнем чуть появлявшиеся творческие ростки, осмеивала все его начинания, даже занятия английским языком называла «развлечением от безделья». Она не давала ему права свободно распоряжаться своими чувствами. Что же Инесса делала? В чём видела себя? Она мучилась и мучила Сашу. Свою силу она направляла на мистические состояния, которые никак выразить не могла, «летала в астрал», нервничала и бесилась. В середине зимы она вышла на балкон, оступилась и подвернула ногу. Помню, как Саша пошутил по этому поводу: «Вчера Инесса при полной луне, возвращаясь из астрала, неправильно приземлилась и сломала ногу. И теперь вместо кочерги у неё костыли». Мы посмеялись.

Саша прощал и подчинялся. Он ничего не знал об изменах, но даже если бы ему стало известно, то, наверно, он не захотел бы их принимать.

Немного отвлекусь от Инессы. На другое лето после года их совместной жизни Сашу взяли на несколько месяцев на сборы куда-то в Карелию. Я стал получать от него письма. Он описывал, как ему служится. Одно начиналось так:

«Во второй день моей службы, Витя, произошло такое событие. «Стройтесь!» — хрипло заорал лейтенант. Весь наш взвод построился около палаток в открытое каре. Всех проверили, пересчитали, и вдруг опять лейтенант выкрикивает: «Рядовой Левин! Шаг вперёд! Рядовой Штейн! Рядовой Абрамсон… Кругом! В штаб!»

Ну, подумал я, что-то с евреями нехорошее затевают. Ведут

нас куда-то за ограду в кирпичный дом. Там встречает внушительный командир роты. И что происходит дальше? Нечто несуразно — неожиданное. Командир приказывает: «Накормить в офицерской столовой! И новобранцам приступить к заданиям: рядовой Левин — заняться сопроматом! Абрамсон — математикой! Штейн — переводить с английского! Сидеть в штабе и работать! Условия будут обеспечены!» Как ты догадываешься, несколько минут отобранные новобранцы были ошарашены, но, наевшись офицерской еды, весело приступили к службе. Сейчас пишу сочинение «Лев Толстой как зеркало…» Командир Иванов учится в академии и, видно, хочет стать генералом! Вот так! Некоторые умеют устраиваться!»

Я в ответ спрашивал: Как идёт изучение Шекспира советскими солдатами?

В предвечерние часы иду где-то в районе площади Льва Толстого. Дул пасмурный тёплый ветер, и мне захотелось взглянуть на недавно открывшееся кафе с разными новшествами, как писали в газетах, и посидеть за чашкой кофе. Прохожу по залу, рассматривая узорчатые колоны и потолки, как вдруг замечаю за одной из расписных колонн с головами матрёшек Сашиного отца. Он сидит почти неподвижно, величественно и высоко, но на его лице нет того выражения, какое я всегда прежде встречал: лицо его необыкновенно оживлено, щёки сияют. Я никогда не видел его в таком оживлении. Неужели это Ефим Петрович? Так может улыбаться? Рядом с ним женщина, мне видна только её спина, лица не разглядеть, оно обращено к нему. Она тоже от души смеётся, пушистый помпон шапочки на её голове болтается из стороны в сторону. В согнутой руке у неё сигарета в длинном–предлинном мундштуке. «Вот о ней-то и писали Асе Романовне! — подумал я, не решаясь ещё раз взглянуть в их сторону, — как-нибудь проскочу незамеченным, а потом всё рассмотрю». Я медленно сделал шаг или два и услышал обрывок фразы, меня поразивший: «Ну, что вы, Инесса…» Я несколько оторопел «не может этого быть, я ослышался?» Я оглянулся: Да, это была Инесса — Сашина жена — в таком весёлом кокетливом возбуждении. «Что же делать?» Я не хочу мешаться, нужно срочно уйти, проскочить незамеченным. Не дойдя до намеченного места, я повернул к входной двери и, задев кого-то сидящего, в смятении выскочил в раздевалку. Официантка что-то бормотала, но я уже закрывал дверь, и пока получал в гардеробе пальто, мне вдогонку ещё звучали голоса и музыка. Минуту спустя я уже шёл по площади Льва Николаевича и думал: как бы наш знаменитый граф описал такую сумятицу? Вот уж поистине: «всё смешалось в доме…» На душе было

сумбурно. Много разных слов обращал я к Инессе, приписывая ей все обманные женские качества: лживость, неискренность, обольщение. Обращался к её не сотворённому миру и к сотворённому, к её мистическим и астральным состояниям, демоническим интуициям, которые «никто не может понять», и… к себе. Проклинал нашу наивность, наши детские симпатии. До чего же мы глупы и беспомощны! Как мало знаем о жизни! Таким сучкам не приходит в голову укусить беспородных, ужасных самцов, они кусают тёплых, ласковых. Гнилые романтики, Саша и Витя, вы должны постигать в муках правду… особенно во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. И что же останется в конце концов от наших романтических мечтаний? Как странно смешиваются ощущения, если приходится спуститься с высоты в глубину.

Мне уже не хотелось никуда заходить, и я отправился домой.

Саша вернулся со сборов. Через неделю он очень взволнованно сказал мне по телефону: «Инесса от меня уходит…» И через паузу: «В глухую ночь ты из дому ушла…» «Приходи ты».

Я подумал: «Как хорошо! Инесса улетела в астрал! И он освободился от неё. А она, одержимая своей тенью, всегда будет вредить самой себе, потому что от себя не сможет освободиться».

Как и что мне ему сказать?

Несколько лет Саша приходил в себя от этого непродолжительного брака. Влияние Инессы оказалась длиннее любви.

«Она долго мне снилась», — уже много позже писал мне Саша. «Я изучил науку расставания…» И, изучив, Саша решил навсегда расстаться с русской жизнью — подал заявление на выезд.

Я водил экскурсии по городу, сумрачное величие которого любил. Восхищаясь архитектурной роскошью, я не замечал отсутствия красок на домах, тёмные грязные дворы меня не пугали, в них я разыскивал арки, карнизы, барельефы. В предотъездные Сашины дни он пришёл ко мне в Петропавловскую крепость прощаться. В последний раз мы побрели по нашему обычному пути вдоль гранитных уступов Невы, вдоль потемневших дворцов, отражающихся в невской воде, вдоль чугунных кружевных оград, вдоль и поперёк знакомых улиц, проёмов мостов, каналов. Мы шли в мраморной белой ночи мимо стройных, померкших зданий, мимо знаменитых всадников на вечнозелёных конях, мимо таинственно–мистического прошлого Петербурга с колонной, увенчанной склонённым ангелом.

Неужели он покинет этот город навсегда? Удастся ли когда-либо свидеться? Крутились в моей голове прощальные вопросы,

но вслух я ничего не произносил. Сквозь воздух нежной сирени смотрел на нас вознесённый купол Исаакия, грозно напоминая о былом имперском величии города.

— Видишь, — вдруг прервал наше молчание Саша, — в каком одиночестве архитектурная роскошь этих великолепных творений, они как неприкаянные. Помнишь, как у Ахматовой: «… И ненужным довеском болтался возле тюрем своих Ленинград». Мне всегда казалось, что эти дворцы и виллы заняты оккупантами, там поселились клубы, склады, парткомы. На царские одежды клочками набросаны матросские майки. Неужели город никогда не придёт в себя? Не вернёт своего державного достоинства?» Я молчал, думая о том, что и мы такие же отвергнутые, такие же «ненужные довески», как эти башни, барельефы, узоры, орнаменты. И сердце моё защемило от жалости к этим тоскующим, одиноким, обваливающимся красотам, пилястрам, к себе, к Саше — оттого что я прощаюсь с другом. «В тоске необъяснимой» проплывал город, улицы, дома, редкие пешеходы. По Неве плыл небольшой буксир, тащивший громадную баржу с лесом. Вдруг этот замызганный маленький пароходик взвыл «У…у…у», так что стёкла домов отозвались и сам он весь сжался в трубу, из которой шли эти протяжные ревущие звуки вместе с чёрным дымом.

Мост, по которому только что мы шли, раскачавшись, вдруг взлетел в небо и, разрывая воздух, завис над всей панорамой. Спору нет, к разведённым мостам у меня всегда было сентиментально–умилительное отношение, а в эту ночь оно превратилось в знак разлуки. Кто разводит мосты? Слышит ли он скрежущие звуки? «Нам уже не пробраться на ту сторону, — произнёс Саша с лёгким оттенком иронии. — Нас разделили».

— Да, туда мы уже не попадём. Там остались наши романтические помыслы, — грустно продолжил я. Саша махнул рукой, прощаясь или отмахиваясь, «той стороне», где стены зданий, углы домов уже слегка сияли, тронутые холодным, восходящим из-под арок светом. Мраморная ночь сменялась днём. Через минуты из дымчатого воздуха, куда ни взгляни, во всю длину набережных обозначились фосфорические линии крыш, отделяющие жилища людей от неба. И весь город замер в лучшем своём утреннем наряде, таком приятном для глаз.

«В Петербурге мы сойдёмся снова… На Васильевский остров я приду умирать…» — прошептал Саша.

«Туда, где был унижен, он прийти не сможет»… — подумал я.

В белые ночи июня семидесятых годов Саша покинул бывшую северную столицу нашего государства.

Что в той стране ему удастся встретить?

После долгой разлуки, в продолжение которой мы время от времени обменивались письмами, уже после «перестройки» я приехал в Америку по приглашению Колумбийского университета.

Осуществились мои детские мечты: я в Америке! Саша меня встречал, он прилетел с берега другого океана.

— Вот и свиделись! Мой друг! Какие прыжки судьбы! Как в детстве мы фантазировали, что обладаем тайной, и никто ни в школе, ни во дворе не подозревает о наших путешествиях. Разве наша фантазия не уводила нас неизвестно куда. И вот теперь она стала действительностью! Так вот мы и оказались на необитаемом острове.

— Как я рад, — сказал он, — что ты приехал! Я так давно этого ждал. Разумеется, я думать не думал, что увидимся, что будет такая острая радость снова встретиться. Это больше чем ожидание, это удивительное явление Виктора в Америке.

Нам хотелось о многом поговорить, и нам не нужно было отыскивать предметов для разговора.

Я заметил в нём кое–какие перемены. Мне показалось, что в нём появилась какая-то рассеянность. А может быть, это только прошедшее время так отражается на нас, всё— таки мы — «земную жизнь дошли до середины». Саша, будто уловив мои мысли, прочёл:

…И чем живём мы дольше,
тем делается дальше расстояние
меж нами в данный миг и нами теми…

Мы обошли все прямолинейные улицы Нью–Йорка. Я наслаждался самыми маленькими обыденными радостями: новыми улицами, новыми лицами, новым языком и слушал Сашу.

— Витя, я был так взбудоражен, что как только перелетел через советскую границу то, ты не поверишь, мои часы, «Родина», которые я купил с первой зарплаты, остановились… Сразу поверил, что психологической энергией можно заставить двигаться любые предметы, а под давлением свободы так начинаешь крутиться по всем направлениям, что думаешь, не задохнуться бы, надышавшись свободы. В Новом Свете я повис в воздухе, не принадлежа ни к какому классу, ни к какому обществу… Как ты знаешь, пришлось всё начинать заново, вновь идти в университет, вновь превратиться в ученика и вновь получать звание. Я встретил Эвелину ещё в Италии, можно сказать, по дороге, сразу сказал ей, что возлюбленную Бальзака тоже звали Эвелина, и с имени началось наше знакомство. Она

мне поначалу много помогала, женщины в иммиграции гораздо быстрее приспосабливаются и ориентируются. Родился сын, я тебе писал, что он у нас не совсем здоров, у него есть проблемы, он почти не слышит и учится в специальном интернате.

Тут Саша несколько сник, замолчал и после минутной задумчивости продолжал:

— Витя, хорошо бы одновременно вдыхать воздух двух стран. Я себя чувствую причастным к русской культуре. Конечно, что-то становится чужим, изживается, но никак не искореняется «русский дух притяжения», или по— простому — «коммунальность». Коллективное сознание. Эмиграция — это трагедия, и, может быть, когда-нибудь углублюсь в эти дебри и напишу что-нибудь.

Мы говорили и не могли наговориться.

— Я тоже понял, что попал в другой жизненный круг, — поделился с ним своими первыми впечатлениями.

— В первый визит в университет я встретился с профессором Ф. и рассказал ему свой взгляд на романтизм. Он так внимательно меня выслушивал, заинтересованно поддакивал, я рассказывал и рассказывал, увлечённый взаимопониманием, и после того, как я закончил, этот знаменитый профессор говорит: «Это всё очень интересно, но я совершенно не согласен с вашей точкой зрения».

— Эта американская толерантность, с одной стороны приятна, — говорит Саша, — а с другой это граничит с равнодушием. Что-то утрачено в этой прогрессивной Америке. Как тут преклоняются перед невеждою, так стараются снискать расположение людей, лишённых всякого образования, низкого происхождения, людей из подворотни, что иногда кажется что ты попал не цивилизованную страну, а в дикую «Банана репаблик». Голос обыкновенного большинства, лестью народу все пытаются сыскать себе популярность.

— Это похоже на наших русских символистов — они тоже обожествляли народ.

— В чём-то да, но есть и различие: здесь любовь к большинству происходит от ненависти к меньшинству. Истина, как известно, не открывается большинству средних людей, а понятна лишь избранным, нам с тобой. И это раздражает остальных, и чем больше зависть к избранным, тем больше подчёркивается преклонение перед большинством. А ведь когда-то большинство верило, что земля плоская. Однако за вычетом некоторых недостатков «большинства» — тут можно жить.

— И всё это так… удивительно, как удивительно тебя видеть. Это даже слишком.

— Витя, я сделал курс о связи языка и культуры. Как ты знаешь, здесь студенты свободно выбирают близкие их интересам предметы, и многочисленность моей аудитории, и то, что молодёжи импонируют мои опусы, меня поддерживает, но моим коллегам не всегда нравится такое распределение. Среди профессоров сильна соревновательность. В академическом мире «как на озере, сверху тихо плывут утки, — идеал спокойствия, а снизу, под водой… вовсю идёт работа профессорскими лапами. Я получил «теньюр», пишу статьи, для души — стихи. Издал один небольшой сборник.

— «Нам утро гор туман несёт…», — процитировал я, чтобы показать другу, что его сборник дошёл до меня и я люблю его стихи.

— Всё сам увидишь, когда приедешь ко мне на тот берег…

И я приехал.

— Ты хорошо добрался? Ты проголодался? Проходи, мой друг. Давай обниматься! — оживлённо приветствовал меня Саша в своём доме.

Вошёл в большую гостиную, и показалось, что я попал в холостяцкую мастерскую. По стенам стояли ряды картин, подрамников, холстов. В углу стоял громадный мольберт, а рядом стол с банками красок, кистей и другим художественным хламом. На полу на ковре лежали газеты, и на них сушился свеже–зарисованный холст. Все стены комнаты и даже коридор завешаны картинами.

Бросились в глаза кричащие цвета и архаические изображения. На картинах сочетание таланта и бессмысленности.

Мне было несколько не по себе, я не хотел смотреть на стены и стоял в некотором недоумении.

— Знаешь, Витя, это картины Эвелины, она очень способная. Её картины будут продаваться. Я стараюсь дома всё делать сам. Что там моя профессорская зарплата… Я не успел ничего возразить и заметить, как дверь открылась и вошла другая — брюнетка с серьгами испанско— экзотического вида. Сразу вспомнились строчки:

«Обжигаешь и в трепет бросаешь…» Лицо интересное, матовое, с тёмно— фиолетовыми глазами и большими ресницами. Чёрная с зелёными цветочками шёлковая полупрозрачная юбка, собранная в талии кожаным поясом, в сочетании с оранжевой прилегающей кофточкой делали её похожей на испанских танцовщиц, не хватало только веера и кастаньет. Саша мне писал, что она закончила испанское отделение университета, и нельзя было не заметить, что весь её облик подчёркивал интерес к Испании. Она протянула мне свою

пухлую, стиснутую бирюзовым браслетом, руку с оттопыренными пальчиками, будто собираясь меня пригласить на танец, и искоса обольстительно взглянула из-под полуприкрытых век. Произнесла своё имя с актёрским придыханием: «Эвелина» и, чувствуя всевластность своей женственности, кокетливо склонила голову и широко раскрыла глаза. Я опешил, стараясь скрыть своё изумление. Сразу же достал приготовленный мною подарок — серебряные серьги и подвеску с янтарём, в котором сидели две мухи. Она восхитилась и сразу же надела. Застывшие в янтарной смоле мухи вдохновили её, она захотела обязательно нарисовать мух, одетых в янтарь.

Мне показалось, что при её появлении Саша сразу как— то переменился, с лица исчезло оживление, появилось что— то печальное во всём его виде. Он перестал меня обнимать и отчуждённо сказал, что должен показать мне комнату, где мне располагаться. Я был поражён его переменой, но отогнал это наблюдение. Саша позвал меня наверх, в небольшую комнату, где на стенах тоже висело несколько Эвелининых творений.

Когда я спустился вниз, Саша пошёл заглянуть в кухню, а Эвелина, приняв непринуждённую позу и изображая безразличие, сразу стала показывать мне свои картины. Она переходила от одной к другой.

— Ну вот, посмотрите, в этой картине я выражаю мысли Марселя Пруста… А этот портрет… я считаю одним из лучших портретов Набокова… Столько вокруг бабочек! А вот за эту картину мне предлагали…

Я молча смотрел и на мысли Пруста, и на бабочек Набокова и думал: «Видно по картинам, что в ней какой-то внутренний разлад, и можно только удивляться, почему Саше они нравились? Сексуальность, как звук, разносится по всему полотну. В картинах изображены её сексуальные фантазии и сны. Все фигуры расплывчаты, стилизованы, двусмысленны».

Саша, войдя с подносом, заметил:

— Это талантливо? — Прозвучал оттенок вопроса. Я не хотел услышать этого вопроса и не хотел отвечать. Но Саша спокойно повторил свой вопрос.

Мне не раз приходилось сдерживать свои оценки, не причинять неприятных ощущений авторам, и на этот раз я отозвался как можно ласковее:

— В них есть непосредственность, иллюзорность, и если к таланту Эвелины приложить учёбу у мастеров, то может получиться вполне… Я никак не мог подобрать слова, как «вполне»? И сказал: «пристойно». — А затем добавил несколько тяжеловесную, профессорскую, книжную фразу:

— Как известно, ничто великое не импровизировано, трудом создаются лучшие произведения гениев. Талант нуждается в знаниях».

Лицо Эвелины, до сих пор выражающее пьянящее блаженство, молниеносно преобразилось, искривилось и приняло притворно–оскорблённое выражение:

— Вы ничего не смыслите в живописи! Эти профессора своих студентов ничему не могут научить! — отрывисто и вызывающе сказала она и смерила меня гневным взглядом.

Саша попытался её успокоить, говоря ласковым голосом:

— Эвелина, все совершенствуют свои произведения. Это — часть работы. Один из Людовиков говорил: «Власть королей приобретается трудом», и процитировал свои любимые строчки: «Искусство есть, искусство, есть искусство, но лучше…»

Она же демонстративно уверенно–летящей походкой вышла из комнаты, давая понять, что ей совсем не понравились мои высказывания.

— Витя, она не намеренно это сделала. Не обращай внимания, она отходчива, но у неё такой вспыльчивый характер.

Саша о чём-то напряжённо задумался и замолчал. Мне показалось, что он больше говорить на тему искусства не хочет. Я тоже молчал, но про себя подумал: «Почему бы не заняться домоводством? Быть хозяйкой дома. Почему не учиться? Художников предостаточно. Откуда столько претензий? У неё нет того, что называют художественной жилкой, кишок, чтобы выражать линиями и тонами, что хочешь сказать. Хотя при обдумывании могут и развернуться её способности».

Эвелина вернулись довольно быстро. Принесла сигареты, взяла рюмку и, раскрыв глаза как ни в чём ни бывало, стала расспрашивать меня про Нью–Йорк, про музеи. Она была весела, непринуждённа, как будто не было ни картин, ни мнений, и она смотрела на меня просяще–извиняющим взглядом. Как легко она поддаётся настроениям. На её лице появилось очаровательноласковое выражение, и всем своим видом она высказывала всяческое ко мне расположение. Может быть, она искренне раскаивается в своей невежливой реакции? Но этого нельзя сказать наверняка, ведь лица некоторых женщин обладают тайной подделки — кажется, тебя обожают, но если ты сделаешь хоть какую-нибудь самую маленькую оплошность, то на красивых пальчиках в секунду покажутся коготочки и нежное выражение моментально перейдёт в злобное.

Мы сели за стол, Саша подавал еду, оказывается, он сам её приготовил. Я не мог не восхититься его кулинарными изысками.

— Я не знал за тобой такие способности. Ты не уступаешь

папашке Дюма. Из маленьких кусочков курицы ты сотворил такое восхищение.

Эвелина приутихла, посматривала на меня подозрительно, мало ела, но много курила. Потом встала из-за стола, посуетилась около холстов с этюдами, один из них потёрла губкой. Без всякой надобности перебрала кисти, с нервной торопливостью покопалась в каких-то бумагах и вдруг произнесла: «Я пойду на йогу», а затем мгновенно исчезла за дверью. Саша сам убрал всё со стола.

Некоторое время мы обсуждали его новые мысли про языки, про связь их с сознанием, пока не пришёл Сашин аспирант — Марк, человек приятной наружности. Саша встретил его с шуткой. Начался разговор об университетских делах, о студентах. Марк был заядлый спорщик, он всем своим мыслям придавал столько значительности, я сначала возражал, но он меня перебивал, и убедившись, что мы не поймём друг друга, я замолчал и только слушал.

— Видели ли вы выставку? Читали ли вы последний номер? Можно ли сравнить?

— Я не знаток и не могу говорить о достоинствах. Я в этом плохо понимаю.

Я удивился тому, как Саша, не напуская на себя желание казаться скромным, принижает свои способности. Почему? Он так широко образован, во всё глубоко вникает, но почему тушуется? Может быть, это американизация? И так профессора разговаривают со студентами?

Я долго не мог заснуть в эту ночь и лежал с открытыми глазами. Как удивительно устроена жизнь! Вспоминал отдельные подробности нашего детства, какие-то отрывки… А странно–неприятные произведения Сашиной жены смотрели на меня со стен. Я давно погасил свет, и старался не глядеть на них, но комнатка была маленькая, и некуда было деться, никуда не отвернуться от этих тел, грубо намалёванных фигур, ядовитых красок. Куда ни посмотрю — они глядят, просто лезут в душу. Как с ними примириться? Я не знал до этого, что такое бессонница, а тут никак не мог успокоиться. Полуголый мужчина обнимался с голой женщиной. Я проникся сочувствием к Саше: наверно, эти картины нужно хорошо полюбить, чтобы с ними сосуществовать. Утром я посмеялся вместе с Сашей над своими ночными видениями.

— Голые тела всю ночь меня преследовали… Не мог заснуть.

— Вот так испытывай на себе воздействие искусства! — пошутил Саша.

Я несколько дней гостил у них и присутствовал при ярких

сценах, приоткрывших мне кое-что в жизни моего друга. Я стал свидетелем проявлений страстной натуры Эвелины, во власти которой находился Саша.

В один из вечеров мы поехали в окрестности Лос—Анджелеса в дом к их американским друзьям, где была «парти» с танцами. Было довольно скучно, как всегда бывает на больших собраниях малознакомых людей. Бессмысленные мелкие разговоры занимали и не занимали гостей, но без этого нельзя, таково свойство этих собраний. Мне же было любопытно смотреть на иностранную вечеринку, где не пили, не курили, не спорили, а ходили и скучали. В конце концов пришли три лохматых парня с певицей и оживили скучную атмосферу латиноамериканскими мелодиями. Тут-то я и увидел Эвелину во всём блеске её очарования. Она пошла танцевать, причём без партнёра, — никто не осмелился конкурировать с ней, разве что звуки гитары.

Это был опьяняющий ритуал! Погибельный! Не развязно–циничный танец, какими сейчас увлекаются, а первобытное, природное, ненасытное наваждение. В бурно–ритмическом, парящем танце каждое движение её рук и пальцев было пронизано возбуждающей страстью. Как ни повернётся — всё полно изящно–эротического вдохновения. Когда ж она стала перебирать один за другим воланы на юбках, как клавиши, в воздухе всё зазвенело, закружилось. Казалось, она неслась по испанской улице. Её матовое лицо покрылось светлым румянцем, глаза почти закрылись дрожащими ресницами, и в полном самозабвении она исчезала. В каждую секунду она вот–вот взлетит над землёй, «парящая в сладкой чувственности». И всё! Можно потеряться, погибнуть в этих юбках. И поминай как звали!

— Танец Эвелины обворожил меня, такое восхитительное парение, — сказал я Саше, когда мы остались наедине. — Я не могу в себя прийти.

— А я не могу к себе вернуться. Если бы она только всегда танцевала, то я бы тогда пришёл в себя — воспарил, — ответил он и с усмешкой, лукаво добавил — женщины — это такой предмет… как неопознанный объект… летающие тарелки. Бьющиеся чашки!

За мой короткий визит мне пришлось самому убедиться, что страстно–невольные порывы Эвелины, Сашиной летающей тарелки, танцами и картинами не ограничивались. Вот посмотрите, какая я! Посмотрите! Посмотрите! Независимо от аудитории ей всегда хочется привлечь всё внимание к себе, не соизмеряя размера страстей, не видя последствий. И сколько эмоций она вкладывает в пустые рассуждения, в пустые доказательства своей правоты, как будто всё хочет убедиться, что

она есть, чтобы все это знали и оценили бы её.

Как я на себе заметил, она бессознательно, с иезуитским искусством может «достать «из людей самые неприятные стороны, вывести их из состояния равновесия и оставить в душе другого неприятное чувство. Зачем? Может быть, для того, чтобы показать, что она лучше других? Скорее всего просто без всякого осознания своих поступков.

— Моя бабушка была настоящая христианка. Сейчас таких нет. Таких добрых людей, настоящих христиан давно уже нет! Только моя бабушка! — с этими словами обратилась она ко мне, устремив на меня свой настойчивый взгляд. Несколько секунд она смотрит в упор. Я молчу и не отвечаю, но она настырно допытывает меня:

— Кто вы думаете, кто настоящий христианин?

Я чувствую, что ничего доброго не обещают её слова, и не знаю, как от неё отвязаться. Понимая, что она испытывает моё терпение, решил не произносить ни слова, будто не слышу её вопросов.

— Эвелина, отстань от Виктора! — говорит Саша, но она без всякого внимания на его слова навязчиво повторяет:

— Ну разве вокруг нас, в нашем окружении, есть кто— либо настоящий христианин? Добрый и достойный! Только моя бабушка, и никто не может с ней сравнится. Нет никого вокруг равного моей родной бабушке. Только моя бабушка добрая, настоящая христианка!

И нагнетает и нагнетает… Не замечая, что рядом с ней замечательно — талантливый и добрый Саша. И хочется сказать гадость и ей, и её бабушке. Я уже было хотел сказать: «А не пошла бы ты, Эвелина, к… своей бабушке!» Но она побежала куда-то наверх за портретом бабушки, не дождавшись моего раздражения, которое я про себя произнёс.

— Эвелина, оставь Виктора в покое! — сказал Саша, когда она принесла альбом с фотографиями. — Индейцы племени Мням при помощи определённых обрядов пытаются превратиться в своих предков. Может, и ты сделаешь такую попытку?

— Все вы одинаковые… эгоисты. Я совсем забыла, что мужчины ничем не интересуются, кроме самих себя.

И Саша примирительно, будто соглашаясь с ней, спокойно говорит:

— И потому мы не хотим смотреть на твою бабушку, а лучше пойдём смотреть на океан и будем дышать свежим воздухом Тихого океана.

Этим закончился разговор о бабушке.

Но как продолжение «бабушки» возник разговор о «дедушках»

в тот же вечер в одной из квартир Приморского бульвара.

Была шумная русско–говорящая обстановка, я почти никого не знал, но остальные люди встречались не в первый раз и бурно обсуждали: как и чем мы, русские, отличаемся от американцев. Не берусь описывать, какие были снисходительно–иронические оценки и рассуждения. Эта тема — «Американцы и мы», как я в дальнейшем увидел, — неотъемлемая часть русского застолья в Америке. Потом перешли к противоречиям между внешностью и внутреннем состоянием отдельных людей. Дошли и до обсуждения несоответствия между манерой поведения человека на сцене и дома. Один художник, довольно успешный и умный, как мне сказал Саша, сочно показывал поведение и слова человека в домашней обстановке и на трибуне. Как соблюдается «политическая корректность», как женщины обвиняют мужчин в приставании. Все весело смеялись, особенно после его рассказа о чрезмерных поступках феминисток. «Без запрета нет соблазна», — произнёс художник, и вдруг Эвелина ни сто ни с сего с пафосом и укоризненно заявляет: «А вот мужчины не способны воспитывать детей, они слишком заняты собой, а на детей у них нет времени». Кто-то пытается возразить:

— Ну ладно, Эвелина, не нужно приписывать все пороки исключительно мужскому полу.

— Вы приписываете женщинам всякие глупости, а я считаю, что мужчины заботятся только о себе, у них нет самопожертвования! Мужчины не понимают, что такое во— спи–тание! Только редкие из мужчин могут это понять, как например, скрипач…

Тут она прямо обращается к сидящему напротив неё художнику:

— А вы разве думаете о жертве для своего ребёнка? Разве вы можете понять сердце матери?!

Художник, ничего не отвечая, делает раздраженный жест рукой и отворачивается. Эвелина вскакивает, как фурия, подбегает к нему и, размахивая перед его глазами руками, начинает неистово кричать:

— Стыдно? Вот все вы такие гадкие! Мой Митенька… Как ты смеешь так смотреть на меня?!

Перед ней — Мужчина, — и она переносит на него свою придуманную концепцию то ли ненависти, то ли ещё чего.

— А ты как можешь допустить, чтоб на меня так смотрели? — в исступлении кричит она, обращаясь к Саше. В эту минуту её лицо покрылось пятнами, руки стали делать неистовые, угрожающие движения, кажется, что она вот–вот вцепится в волосы художника.

— Вы — эгоист! — выкрикивает она.

Почему? Зачем? Человек ей почти незнаком. Эгоист приподнимается, выпрямляется, бледнеет. Видно, терпенье его на грани. Секунда — и кажется, что он её ударит. Но он жёстко произносит: «Учитесь властвовать собой…» И, добавляя ругательство в адрес Эвелины, уходит в другую комнату.

Эвелину пришлось отпаивать, она тряслась и рыдала в истерике. Саша молчит, задумчивый, подавленный. Эвелину успокаивали, говорили, что художнику–эгоисту сейчас плохо, его покинула любимая жена, которую зовут таким же именем «Эвелина», и что он жутко страдает. Это её успокоило. Когда же после успокоения она зашла на кухню и увидела, что Саша вместе со всеми шутливо разговаривает, то она, как ошпаренная, выскочила на улицу. Мы с Сашей отправляемся на её поиски.

— Витя, она нарочно меня мучает. А потом так… У неё раздвоившееся сознание.

Он рассказал мне, как Эвелина поддерживала его, когда он учился, она работала сначала продавцом в какой— то азиатской лавке, потом в кафе официанткой и выращивала ребёнка. По его словам она изменилась после рождения ребёнка. Горящий луч своей эротической натуры она направила на материнский инстинкт, который приковывал её к ребёнку, и за эту интуитивнобессознательную страсть она наделяет себя чуть ли не божественными качествами. Она забывает, что другие люди тоже выращивают детей, настолько, что все остальные люди, особенно мужчины, кажутся ей эгоистичными. Она живёт с этим заблуждением.

Саша, как мне показалось, пытался убедить самого себя в чём-то, рассказывая мне об Эвелининых достоинствах и анализируя её поведение.

Когда же мы открыли дверь их квартиры, то Эвелина уже сидела на диване, слушала музыку и курила. Она равнодушно на нас взглянула и мгновенно ушла к себе.

На следующее утро она долго не выходила из своей комнаты, видно, не простила мне, что я наблюдал сцену с эгоистами и присутствовал при её экстравагантной выходке. Вернувшись из книжного магазина, мы застали её сидящей за мольбертом. Она ласково изъявила желание нарисовать мой портрет, и оказывается, уже сделала его наброски на фоне Петропавловской крепости. Я не знал, как отнестись к такому сюрпризу. Боже ты мой, совершенно невозможно понять, что она думает и испытывает в действительности! Сумасшедшего любят только потому, что его любили до помешательства? Как согласиться со всем, что она делает?

В другой день она набросилась на Пикассо. Какая-то дама хвалила духи фирмы дочери Пикассо, кажется, она их продавала. Женщины нюхали и рассматривали принесённую косметику. Вдруг Эвелина, видно нанюхавшись сладких запахов, укоризненным тоном произносит:

— Пикассо был, как и все мужчины, отвратительным, гасил о своих любовниц сигареты! Подумать только, как можно такое делать! Он мерзкий, чудовищный эгоист! Многие художники такие развратники… Особенно мужчины.

Никто не поддерживает Эвелининых возгласов. Она воспринимает молчание публики, как оскорбление её моральных достоинств, и продолжает:

— Пикассо рисовал натурщиц, всё время у него были любовницы, в семьдесят лет он завёл ребёнка, не думая о том, кто будет воспитывать этого ребёнка!? Он никакой не художник!

Она не знала меры и переходила все границы.

— О твой рот, Эвелина, тоже хочется погасить сигарету! — раздается язвительный голос. Её лицо передёрнулось судорогой, появилось какое-то отталкивающие выражение душевной низости и сверкнуло что-то звериное.

— Я боюсь за Эвелину, — со вздохом говорит Саша. — Странные убеждения так её захватили, что… «Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла». Буквально через несколько дней она скажет, что нет значительнее художника, чем Пикассо, что женщины ничем не лучше мужчин, что нет изумительней города, чем наш, и одновременно это самый противный город в Америке. Придёт в восторг: «Какая работа! Как мне нравится эта вещь!», а через пять минут всё перевернёт: «Никакого сходства с реальностью». Примеров можно привести до бесконечности. Она даже на миг не может заставить себя взглянуть вперёд. У неё бессознательное отношение к жизни. — Почти моими мыслями говорил Саша.

«Первое время было тяжёлое для меня, но я думал, что всё пройдёт (читаю запись в Сашином дневнике), что столкновения происходят потому, что она ещё недостаточно меня знает. Я задержался в библиотеке. И ехал домой переполненный чувством предстоящей встречи. Я вбежал и хотел поцеловать её. Открыл дверь, она не встретила меня, я позвал: Эвелиночка! Никто не откликался. Я вошёл в комнату и увидел её неприятное, сморщенное выражение. «Что случилось?» — спросил я.

Ни с того ни с сего она сказала:

— Ты не думаешь обо мне, где ты был, что… — И ударилась в слёзы. Я стал её утешать, чтобы успокоить. Сказал, что забыл про время. Не смотрел на часы…

— Ты про всё забываешь, помнишь только о себе. Ты эгоист. Я никак не мог оправдаться, хотел снять с себя вину, но чем больше я говорил извинений, тем горче она рыдала, начинала всхлипывать. Она так жалела себя.

— Почему я вышла за тебя? Ты думаешь только о себе, как все мужчины. Ты эгоист.

Чтобы она успокоилась, я признал, что я виноват, что я не позвонил, хотя мне и неоткуда было. Ничтожные причины могли вызвать её раздражение, ревность. Она всякий раз приводила с её точки зрения разумные доводы. Ты не сделал ещё этого… того… Тон, с которым она всё говорила, всегда был эмоционально–убедителен, так что я сам начинал верить в своё несовершенство. Она приписывала мне всяческие дурные мысли, мои поступки переиначивала, приписывая им несуществующие мотивы».

На конференцию в Сан–Франциско Саша прилетел один. Мы договорились, что я тоже приеду, послушаю его выступление, и потом мы несколько дней проведём вместе, как в школьные годы.

Модный Пастернак интересовал всех. Саша говорил о той загадке, какой остаётся поэтическое слово. Поэт создаёт слово или поэзия требует создания слов? «Мы — нация многословная и многосложная, мы — люди придаточного предложения, завихряющихся прилагательных. Говорящий кратко, тем более пишущий обескураживает и как бы компрометирует нашу словесную избыточность».

Спорили, обсуждали, комментировали Сашин доклад, вызвавший бурную дискуссию.

— Вы, наверно, и Ремизова не любите? — обратилась к Саше одна красивая дама в кулуарах.

— Не знаю, как я отношусь к Ремизову, но вы мне положительно нравитесь, — ответил ей Саша.

Саша был весёлый, даже любивший подурачиться, но с женщинами вёл себя сдержано, по–видимому, боясь скандалов и упрёков Эвелины.

В ласковом, тёплом воздухе города мы упоительно провели три дня. Мы любовались великолепной панорамой заливов, огней, холмами с белыми особняками. Кто не знает видов, открывающихся с золотых и длинных мостов этого города! Улицы Сан–Франциско не удивлялись, видя двух любящих друг друга мужчин. А меня удивило, что в городе нет сумерек и много респектабельных нищих, чинно восседающих по углам улиц, причём в определённом порядке. Саша сказал, что на месте города до открытия золотых приисков была францисканская миссия, и нищие с тех пор под охраной святого Франциска. А я думал, что их места распределяются конгрессом! У одного из

нищих висела попрошайническая надпись, что он очень хочет опохмелиться, и мы пошли навстречу его честности — подали ему на это святое дело. Сразу за углом у другого представителя этой профессии была надпись: «Вы попадёте в рай, если сделаете подаяние!» С этим прошением мы не согласились: «Нет, — говорит Саша, — не будем толкотню в раю устраивать, да и с концепцией мы не согласны». А на другой стороне улицы попрошайничал негр, про его позицию Саша пошутил: «Видишь, в этом профсоюзе тоже соблюдается «иквол оппортунити»! Когда подошли поближе, то на изломанном картоне разглядели и негритянские аргументы: «Хомлесс. Жена выгнала из дому».

— Подумать только как повезло! Давай ему побольше подкинем, чтоб он никогда к ней не вернулся! — полушутя, полусерьёзно сказал Саша.

От других людей я узнал, что Эвелинина правдивость граничила с цинизмом, с ухмылкой, вот, мол, вы все мерзкие, а я вот такая… прямая, правдивая, откровенная. Она пускалась в откровенности, выворачивая себя наизнанку, как она любит другого человека, а не своего мужа Сашу. Чтобы все знали, как в сгустившихся сумерках она поехала к знаменитому поэту за интимными ласками. Тайну своего посещения она старалась разгласить, ей хотелось выболтать всё, и этим присоединить себя к чему— то необыкновенному, что она причастна к высшей поэзии. Эвелина придумала, а может быть, и правда, что поэт, читая стихи, смотрел только на неё и что только к ней обращаются его строчки. Она рассказывала всем и вся, вспоминала те таинственные знаки, предвещающие чувственные наслаждения, и мысленно представляла себе… несуществовавшую любовь. Говорила с воображаемым собеседником, что оказалась под влиянием вспыхнувшего желания, во власти чувственного призыва, и как это мучительное чувство и желание захватило её всю… Она не могла сдерживать свои чувства, гордилась этой страстью и мечтала лежать рядом с ним. Почему нужно, чтобы все об этом знали? Я давно подозреваю, что люди стремятся разгласить свои интимные тайны для того, чтобы придать себе вес в глазах других, чтобы показать другим свою необычность. Одним словом, это бессознательное бахвальство принесло мне большое огорчение за Сашу. Думаю, что и он знал правду. И как оказалось позднее, Саша нашёл у себя на столе забытые Эвелиной записи об этом.

Почему он не мог порвать эти узы? Что удерживало рядом людей таких чуждых друг другу? Саша видит её мелкость, но каким-то образом Эвелина на него воздействует.

В последний день вдруг заговорили о возможности развода.

— Может быть, самый разумный выход — это развод? — задал я ему вопрос, который, казалось, он ждал. Он висел между нами.

— Не проходило дня, чтобы я не подумал об этом, но эти мысли сводили меня с ума, и я их оставил. Что будет с сыном? С ней? Сын больной… И она тоже нездорова. Если я это сделаю, то буду казаться себе подлым. — Он задумался, посмотрел в сторону, вздохнул и тихо прошептал про себя: «А так — трусливым?» Он замолчал, грустно посмотрел на меня и, набрав в себя воздуха, рассеяно спросил:

— Что ты думаешь? Скажи, что ты думаешь?

— Ты, знаешь, надо сделать всё, что можно.

Он задумался, в его лице появилось выражение отчуждённости. Наступило молчание.

— Предположим, я решусь на развод… Ты представь, в какой ад я попаду, как я буду страдать? В секунду его лицо приняло страдальческое выражение, и он тяжело вздохнул.

— Да, но ты и так страдаешь.

— Но это страдание не по моей вине. Оно от меня не зависит.

— Я не вижу смысла в твоём страдании. Оно тебя разрушает. Оно ничего не создаёт. Ты ведь всё равно чувствуешь свою вину перед ней, перед ребёнком.

— А разве есть в страдании смысл?

— Ты знаешь, как говорит наш Ф. М.: через страдание человек приходит в сознание.

— Я этого не понимаю. Тогда я должен быть самым сознательным индивидуумом.

— Да, но твоё страдание бессмысленное. В страдании должен быть смысл.

— Витя, попробуй определить, у кого какое страдание? В каком есть смысл, а в каком нет. Оно разве окрашено? Кто с какой целью страдает. И кто более одинок? Знаешь, Витя, чем больше проходит времени, тем яснее для меня становится, что я ничего не могу изменить. Власть неизвестной таинственной силы, кажется, руководит моей жизнью независимо от моих душевных настроений.

Протекло четыре года, которые я прожил в Америке, работая в музеях, консультируя, читая лекции, путешествуя. Мы часто перезванивались с Сашей и неоднократно виделись. Я превыше всего ценил свою свободу и не женился. Были разные увлечения, но сейчас я пишу о Саше. Он по–прежнему был с Эвелиной, много работал и много страдал. Мы обсуждали политику, стихи, статьи и почти не касались его семейных дел.

Как только Саша узнал о своём смертельном диагнозе, он

попросил меня к нему приехать. Он продолжал работать. На этот раз я остановился в гостинице, и мы встретились с ним в университете, где провели несколько часов в его кабинете. От книг было темно в глазах. Сколько книг!

— Это — мои друзья, такие же, как ты, дорогой мой друг, — сказал Саша, показывая мне на книги в шкафах, — они не отворачиваются. Вот здесь сейчас моё общество — ты и книги. Только тут я остаюсь самим собой. И теперь, с наступлением болезни, всё больше размышляю о себе… о своём внутреннем разладе, конфликте, — грустным бархатным голосом говорил Саша.

— Ну, почему выбран именно я? Какой грех был у меня? — он закрыл глаза, и у меня спёрло дыхание, я не мог ничего произнести.

«Как можно его утешить? И кто мог бы?» — думал я про себя. После долгой паузы Саша вдруг сказал:

— «Лучше быть красивым, чем добрым», сказал Оскар Уайльд. А я был слишком добрым вместо того, чтобы быть «красивым»? Ну, и что? И за это такие страдания? Что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю. Вчера со студентами вёл семинар о Толстом и натолкнулся на его рассуждения в «Войне и мире» о доброй Соне. Ты помнишь?

— Нет, я давно не возвращался ни к миру, ни к войне.

— Вот послушай, что он говорит: «У неимущего, у кого нет эгоизма, — всё отнимется». И у Сони ничего не осталось. А ведь Соня так преданно любила Николая, была ему верна, всем помогала. При упаковке вещей, когда любимая Наташа Ростова бегала с Петей по дому и всем мешала, Соня, как никто, трудилась. Ведь Наташа и не дождалась князя Андрея, хотела убежать с другим. И после всего: Соня — пустоцвет, никому не нравится, и все симпатии у Наташи. Так вот и я, как Соня. Я весь был готов на пожертвования. Только не говори лучше, что «будь хорошим человеком, и это облегчает последние минуты, успокаивает».

— Саша, я этого не знаю и не говорю. И тоже многого в этой жизни не понимаю.

После обмена «непониманием» Саша вынул из одного ящика толстую папку, перевязанную красной ленточкой в синюю полосочку, развязал ленточку, хотел что-то вынуть, но махнул рукой, снова всё завязал красивым бантиком и отдал мне.

— Я хочу передать тебе мой архив, мои незаконченные статьи, записи, письма, стихи. Посмотри…

Кому он пишет? Записи адресованы самому себе? Я думаю, что он беседует сам с собою или с неизвестной женщиной: нет

имени, нет обращения.

«Помнишь, как мы кружили по лабиринту улиц. Я вспоминаю слова: «Любовь сильней разлуки, но разлука длиннее любви». Существуешь ли ты? Или тебя нужно открыть? Моя любовь… Кроме неё, не существует ничего. Ничего в целом мире. Я смотрю на тебя спящую на моих коленях и я блаженствую. И банальные слова: «Я люблю тебя» преобразуются в редчайшие, уникальные. Я хотел бы тебя достичь, дойти до тебя. Я хотел бы глядеть на тебя… вечно глядеть. Я хотел бы дышать тобою, моя прекрасная мечта! Но я падаю, спотыкаясь, в яму…

Январь не будет знать конца,
И будет жечь глагол сердца…
Любовью…

Я назвал её твоим именем… Её ревность не передать ни письмом, ни словами. Как вынести эти сцены? Она всё переиначивает. Я не могу её оставить, и только в мыслях могу её убить, но это моя абсолютная тайна. Этот больной ребёнок. Всё ребёнок, ребёнок… Ты единственная, кто знает это, и…»

Саша открылся «другому». Я стал просматривать черновики его незаконченных статей, записи, мысли, дневники. Некоторые отрывки я приведу.

«Я не мог её оставить, боялся, что буду виноват в её смерти. Попытка развода могла привести только к скандальному процессу, она всегда угрожала мне самоубийством: «Я умру, если ты задумаешь развод!» Она делала такие попытки. Её слова всегда стояли у меня где— то неизвестно где. И что случись, я всю жизнь чувствовал бы свою вину».

«С одного эпизода у меня открылись глаза, а потом я их старался закрыть, не видеть глупостей, не слышать разговоров, которые не хотел слышать. Всё переводил в выгодную для себя плоскость. Никак не мог признать, что опять ошибся. Так хотелось, чтобы всё было хорошо, что всё образуется.

Ведь были такие удивительно–прекрасные моменты, когда я смотрел на неё с восхищением! Казалось, так будет всегда! Как я любил её нежные проявления, поцелуи, объятия, и был тогда счастлив. Как мила была она, когда сидела возле меня и печатала мои стихи, склонив голову над машинкой! Стук машинки был музыкой. Помню как она рисовала мой портрет и я смотрел на неё с тихой грустью. Мы сидели у камина как бы в старинном замке с потухшими свечами, она была в бархатном платье с высокой талией, этот наряд, камин, свечи будто из средневековой жизни, будто в раю, и я любовался ею, портретом, мечтой.

Мечталось: так будет всегда! Будет! Будет! И я жил этими мечтами».

«Мне хотелось мира, любви, спокойствия, хотел, чтобы она была ближе ко мне. Я думал изменить, смягчить её нервозный характер. Может быть, я помогу ей вырваться из захватившего её состояния? Я должен все силы направить на её исправление, чтобы всегда была «каминная» музыка, чтобы было парение, понимание, доброта. Как мне повлиять на неё? Что делать, чтобы она была спокойна? Как поступать? Эти мысли беспрестанно меня одолевали. Я буду её лелеять и холить, восхищаться её талантами, прямотой. Сколько стихов написал ей в посвящение. Никаких грубых слов я не мог произнести. Не ненавидеть, а любить я хотел. И в результате… Как я ни старался, я не мог воплотить свои мечты в жизнь. Я так хотел, чтобы она перестала быть такой, как она есть. Я ничего не мог сделать. Иллюзии и действительность.

Ссоры из-за ревности, чтобы привязать меня сильнее. Припадки ревности меня охлаждали, потому как причиной их не была любовь ко мне, а только желание оградить меня от всяческих общений. Она хотела, чтобы я никого не видел, никуда не ходил. Я не мог восхититься ни одной из знакомых женщин. «Где ты был?» «От кого это письмо?» «На кого ты так поглядывал?»

«Бесконечные упрёки в эгоизме по отношению к мальчику. Эвелина чувствовала страшную животную привязанность, и ребёнок тоже стал предметом раздоров. Она столько делала для него — ухаживала, читала, а я этого не мог. Она не спала по ночам, а я спал. Чувство к ребёнку, когда я его брал на руки приятное, но когда видел его несостоятельность, всё во мне переворачивалось от жалости к себе. Я не буду ни радоваться ни его успехам, ни гордиться им, ни умиляться. Я испытывал всегда эту боль. У меня было смешанное, странное чувство, которое не переставало меня мучить: умиления и раздражения. На кого? На что? Наш ребёнок не соединил нас, а ещё больше отдалил. Когда появился красивый и нормальный Денис и я сказал что-то о нём приятное, что творилось в этот момент с Эвелиной!? Она заперлась в комнате, открываю дверь, и она лежит без сознания. В госпитале её приводят в чувство…»

«Про многие скандалы мне стыдно рассказывать, они такие постыдные: ревность к собаке, к памяти моей матери, к положительным высказываниям об уме одной женщины. Как-то на вечеринке она специально разбила рюмку, разозлившись на даму, которая сделала ей какое-то замечание. Дома я ей заметил, что она неправа, что ей не нужно было… Она схватила стакан с

вином и выплеснула вино мне в лицо. А через двадцать минут приласкивалась и отмывала свитер. Я закрывал уши, уходил в свою комнату и начинал работать над чем-нибудь. «Ты опять занят своими статьями? Не знаешь, что ребёнок разбил полочку, мог поцарапаться, стекло могло врезаться ему в ногу, он мог взять в руки эти осколки…», и начиналась путаница доводов, мыслей. Я научился избегать «сцен», уходил в себя, привыкал и подчинился этой повседневности. Моя мужская независимость оставалась только среди книг в моём кабинете.

Между нами образовывалось далёкое расстояние, всё больше и больше возникало вопросов, в которых мы никогда не сойдёмся, и я оставлял их. Любой предмет как ссору. Каждое слово как яд. Говорить стал только о повседневных домашних делах. Как быстро всё превращается в человеке.

Я был в ловушке, я чувствовал себя пойманным в сети страсти. Я был связан. Я не мог признаться сам себе, что я проиграл. Не решаясь всё порвать, я затягивался в эти сети. Приоткрывалось опять. Она воздействовала на мою природу. Посмотрю на Эвелину — она танцует, и кажется, что я могу ещё всё исправить. Я просто ощущаю другую силу, которая сильнее моего рассудка».

«После всего все сменялось напряжённой страстью. Она своей захватывающей сексуальностью меня покоряла. Я думал о неравном своём положении. Как так оказалось?

Кто долго так способен был
Прощать, не понимать, не видеть,
Тот, верно, глубоко любил,
Но глубже будет ненавидеть.

И я не понимал, прощал, не видел. Всё время придумывал оправдания, ей плохо оттого, что… Ничего не хотел знать, замечать, не хотел видеть правды. И начал ненавидеть.

Лишите жизнь поддельных блёсток,
И обнажится правды суть,
Чей взгляд жесток, чей облик жёсток,
И страшно ей в глаза взглянуть?

Я признаюсь, в душе иногда думал, чтобы она куда-нибудь исчезла, я производил, как говорит Камю, экзистенциальное убийство. «Ад — это другие». Как живём мы в сознании других? Мы там мёртвые…»

«Я хотел разорвать с ней, но не мог. Я был бессилен что-либо менять. Я принял на себя обязательство жить вместе, и постепенно образовывался ад, в котором я находил для себя маленькие уголочки, и считал, что все так приспосабливаются. Я смотрел на другие семьи и видел, что жизнь у многих идёт плохо, может быть ещё хуже моего. У многих нет ни ссор ни любви, обоим жизнь постыла, но они не признаются сами себе в этом. Мне было так временами тяжело, что в те минуты я уже не испытывал страха. Я мысленно придумывал тысячи вариантов, как мне избавиться от неё. Всякие мысли приходили в голову. Но в душе начинало двоиться, троиться. Это мучительное положение всегда. Этот сын, которого я не мог до конца любить. Я думал, как развязать это положение, и ничего не мог придумать. Слишком больно вспоминать то, что глубоко спрятано.

И каждый миг есть одиночества урок, но одинок не каждый…»

Что же дальше случилось?

«Как на поле сражения, сошлись две стихийные силы. Кто победит? Эта борьба без победы, без исхода. Как две языческие силы они обе мстят мне. Что они хотят от меня? Что они делают со мной? Инесса обращается с Эвелиной, как с больным ребёнком, и уверяет её, что чувствует к ней страстную нежность, говорит ей ласковые и предательские речи… Необузданный инстинкт разрушения ведёт её. Она не может любить, в ней самой слишком много преступного, тёмного. Чужие страдания доставляют ей приятное искушение. Её сердце ожесточённое и озлобленное. Эвелина… Но кто в этом признается сам себе?»

Что это за отрывок из Сашиного дневника? Это о приглашении Инессы в Америку. Я плохо знал эту историю, где-то в первые годы Сашиной жизни в Америке Инесса попросила Сашу прислать ей вызов, и Саша послал. Эвелина же захотела пригласить Инессу пожить к ним в дом. Зачем? Доказать, что она лучше?

В последние дни моего друга я приехал, чтобы быть рядом с ним. Саша знал, что он умирает, но иногда он думал, что «побьёт статистику». Он похудел, побледнел, его нельзя было узнать. Он так изменился в лице, что прошло разительное сходство с матерью. Остались только глаза, смесь рыжего и чёрного и в них скорбное выражение.

Я хотел скрыть своё волнение, все мои слова выглядели бы нелепыми перед лицом его страданий и открытий. Я слушал и вместе с ним переживал его неразрешимые тайны, и всей своей душой разделял с ним его состояние, как мог. Он говорил о жизни и смерти. Я молчал и не хотел его перебивать, а только

иногда кивал головою и пожимал его руку.

Когда блистали капли надежды… В эти минуты он повторял, что перестанет интересоваться ничтожными вещами, что никогда не будет нытиком, пессимистом и изменит свою жизнь. Он сидел такой кроткий, родной, иногда представлялся отрешённым, а в отдельные минуты таким просветлённым и мудрым. Что за слова он говорил, и какие они были!

— Витя, я жил в какой-то тьме, в каком-то отчуждении с миром. Сейчас я ощущаю собственную ограниченность. Что существенного я воплотил в этой жизни? Ежели буду жить, то пустяками не буду заниматься. Многое, чем люди заняты, есть полный вздор. На каких ложных достоинствах я настаивал! Ты поймешь меня, что не следовало мне уступать даже добру, потому что всё так перепутано. Зло рождается из добрых поступков. То, что я считал добром, могло не быть им? Только сейчас начинаю догадываться, о чём писал Ницше в «По ту сторону…» Быть может всегда нужна близость смерти? Я приготовил для тебя рассказ о новом добре и другом зле. О моём зле. Возьми рукопись.

Я существовал в «конфликте долга» и не поступал против морали. Всё сносил. Ну, и что? Сейчас думаю, что никакой суд не способен ничего решать кроме меня самого. Этот разрушительный конфликт я должен был разорвать. Но лекарство пришло слишком поздно. Он произнёс это по латыни.

В один день Саша вспомнил, как князю Андрею перед смертью вся жизнь представилась волшебным фонарём, в который он долго смотрел сквозь стекло и думал: «Разве не всё равно теперь, что будет там и что такое было здесь?»

— И я тоже, как в панораме, увидел всю свою жизнь. А ты помнишь, Витя, как князь говорил Пьеру, чтобы тот никогда не женился, будет всё закрыто, всё кончено: «Женись стариком никуда негодным». Жаль, что мы читаем хорошие книги тогда, когда мы совсем юные, и значения многих вещей от нас ускользают, да ещё под влиянием всеобщего образования. Витя, прости меня, что я всё повторяю и повторяю: что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю.

В этот момент Сашиной жизни его коллеги устроили для него вечер чтения стихов в самом красивом зале университета. Этот зал был великолепный: с готическими колоннами и сводчатыми переходами, с овальными окнами, и высоким потолком, с которого свисали три гигантские люстры из сверкающего хрусталя. Саша, несмотря ни на что, а скорее вопреки, согласился читать. Я был полон страха, как всё пройдёт, ведь Саша был так слаб, что всё могло случиться. Но какая с ним произошла перемена, как только он надел свой вечерний костюм из

приятной материи, голову прикрыл тёмным беретом, — он стал мужественным, величественным и даже выше ростом. А когда он появился на сцене твёрдым, уверенным шагом, подтянутый, собранный… Как только раздался его громкий, красиво окрашенный, бархатный голос, по залу промчалась молния, все застыли на местах. В спокойной, торжественной тишине полный голос его рассыпался под сводами всего пространства. Казалось, слова спускались откуда-то сверху и забирались в душу. Он погружался в звуки сияния луны, дребезжания мухи, касания утренней зари…

Я не разбирал ни слов, ни строчек, чувствовал только душевное содрогание от дыхания трагического, стоявшего за ритмическим разнообразием звуков. Казалось, что он один живой, мистик, а все мёртвые, онемевшие, застывшие. Он уже не поэт, он тот через кого обнажается таинственная сила природы. Он мог читать что угодно. Независимо ни от чего где-то там происходило единение и где-то там в безмолвии всем было хорошо — там, где через мистическое священнодейство всё превращается в невыразимое счастье.

Саша читал, закрыв глаза, дрожа и иногда задыхаясь. В конце чтения момент глубочайшего душевного покоя внезапно переходит в последний аккорд:

Сначала нужно сгореть дотла.
А потом?
А потом возродиться из пепла.

Зал замер, онемел. Безмолвие. Слышен только тончайший шелест хрусталиков люстр, обдуваемых тёплым воздухом кондиционера. И вдруг все, находившиеся на высшей точке чувств, разом встают, и зал оглашается овацией — Саше, его воле, самообладанию и своим высшим желаниям. Нигде, никогда мне не приходилось испытывать такого трагического восторга людей. Как возвышает трагическое ощущение, переполняет, обновляет! Тяжёлая и святая атмосфера вместе. Саша весь был засыпан цветами.

— Я страшно устал, меня подвезут домой коллеги, увидимся завтра, — сказал он мне, когда я подошёл обнять его.

На другой день, когда я пришёл к нему, Саша был один. Дверь мне открыла молодая негритянка–сиделка. Он полулежал в кресле, и его глаза были закрыты. Его лицо выражало томление, но услышав шаги, Саша проснулся и увидел меня. Он слегка улыбнулся. Я поздравил его с таким серьёзным выступлением, таким глубоким, таким полным чувств, и восхитился величием

такого поступка.

— Витя, это всё потому, что я стою вплотную перед вопросом… себя и смерти. Ты поймешь меня.

— Как это резко и страшно звучит.

— Каковы бы ни были люди, как ты знаешь, они сочувствуют в таких ситуациях. И к сожалению, чаще всего только в таких. Как бы мне хотелось, чтобы так слушали раньше. Что бы я дал тогда…

— Мой друг, но иначе и не может быть, мы теперь немножко знаем людей.

— Знаем, знаем, но не всё понимаем. Многие мои суждения о жизни и людях были неверными. Ты понимаешь, Витя, как мало я ненавидел в своей жизни. Любил ли я своих близких? Я любил маму.

Он вздохнул, его руки судорожно сжались. Наступило молчание. Я пожал его руку и спросил:

— Почему не было Эвелины?

— Она приревновала меня к одному стихотворению, считая, что я не должен его читать. Он «посвящён» не ей. Она была раздражена и сделалась больной.

— И всё равно люди не перестают меня удивлять. А ведь казалось бы, Саша, перед лицом… такие мелочные счёты. Я замолк, а он сказал:

— Я так давно её не любил, что в памяти стёрлось всё хорошее, что было между нами. Было что-то не то в том чувстве, которое я испытывал к Эвелине. Я, наверно, испортил свой характер терпением… и многое потерял. — Он вздохнул, перевёл дыхание и тихо проговорил:

— А жил всё время в будущем, в ожидании новых ощущений, непременно должно случиться что–то необыкновенное. И вот случилось. Ждал, ждал, и всё напрасно. Но когда меня не будет, ты поучаствуй в ней, а то она пропадёт.

Саша замолчал и грустно смотрел на меня. Он протянул мне руку, она была влажно–тёплая, и я опять пожал её. Я приготовил ему чай, он уже почти ничего не ел. Эвелина так и не показывалась целый день, и вообще я её редко встречал в эти дни.

Я безмолвно сидел перед его креслом и слушал. Он вполголоса произносил слова, приглушённо, краешком губ:

— Витя, что ты думаешь о Боге? Он существует? И, видно, это его воля? Имел ли я отношение к бесконечности? Стоила ли моя жизнь чего-нибудь? Я открываю в себе идею божественного и, может быть, я, как тот разбойник на кресте, в последние минуты приобщусь к тайне. И только сейчас я осознаю свою единственность, свою уникальность.

Я проводил с ним по несколько часов днём, иногда вечерами.

К нему приходили и другие люди, — врачи, студенты, знакомые, но он хотел долго быть и беседовать только со мной.

В последние дни Саша уже не сидел в кресле, а лежал в кровати. Когда я пришёл, он слегка махнул рукой, все вышли. Он хотел остаться со мной наедине.

— Друг мой Витя, как я тебя жду! — Он взял мою руку, полузакрыл глаза и задыхающимся голосом сказал:

— Лежу недвижимый, всё–всё перевернул в душе. Пока ещё могу думать. Хочу тебе кое-что сказать. — Он приподнялся, и на его уставшем лице вдруг появилось светлое выражение, которого давно уже не было. Потом он опрокинулся на подушки. Я поправил одеяло и сел ближе, даже склонил голову, чтобы слушать его. Он стал говорить тихо, но сосредоточенно:

— Я сейчас уверен в другом своём существовании. Я, конечно, в этой жизни пребывал ниже своих возможностей. Может, там… Витя, я расскажу тебе о своём видении. — Тут он откинулся на подушки, показал мне рукой, чтобы я подвинулся к нему ближе, и почти шёпотом продолжал:

— То ли во сне, то ли наяву я видел лестницу. Я по ней поднимаюсь. Вокруг стоят каменные скамейки, и на них сидят люди. Я не узнаю их никого… просто люди — и всё. И они молчат. И дальше всё в тишине холмы, горы. Всё передо мной. Мелькает мысль, что это страна мёртвых. А я иду и иду вверх, и мне так хорошо. Чувствую, что я покинул землю, и у меня лёгкость… невесомость… парю в облаках… Такое блаженство, как в бесконечном раю. От всего свободен и от всех. Никаких связей. И зачем просыпаться и возвращаться сюда?

Он опять приподнялся и глядел мне в глаза. Мне показалось, что в его угасших глазах и в лёгком движении головы в секунду мелькнул прежний юношеский отрезок нашего времени, такое тихое облегчение. «Так угаснувший огонь ещё посылает на воздух последнее пламя…» И во мне пронеслось переживание, какое-то внутреннее, бесконечно ускоренное созерцание прошлого, настоящего и будущего. Я очнулся, когда почувствовал прикосновение кончиков Сашиных пальцев:

— Витя, я ожидаю то, что случится, со спокойствием. Как я раньше боялся этого. Жаль только, что… не успел… Он поднял голову и сделал мучительное усилие:

— Почему я не избрал себе такую страсть, чтобы всё в душе было слито? Почему я так и не понял в чём же?.. Ухожу на ту сторону жизни…

Саша забывается. Не видит моих слёз. Рядом с ним я ощущал присутствие чего-то вечного и неведомого.

Это случилось накануне Рождества последнего года Второго

тысячелетия, через месяц после чтения Сашей стихов. Весь город готовился к Рождеству, а я — к похоронам любимого друга. Воздух был наполнен торжественным волнением, звоном далёких колоколов, рождественскими мелодиями. Навстречу мне неслись оживлённые люди, спешившие покупать подарки к празднику. Я же шёл заказывать прощальный венок из белых лилий. Какие только мысли ко мне не приходили! При всей красоте, иллюминации, нарядности, оживлении города у меня на душе было не радостно. В цветочном магазине с корзинами роз, лилий, бантами, лентами запах свежих ёлок отбросил меня далеко–далеко в детство, туда где мы с Сашей наряжали ёлку, туда, где в новогоднем школьном спектакле мы изображали: он — зайца, а я волка. И через много лет вот случилось, что плохой, злой волк покупает траурные цветы для кроткого, милого зайца и плачет.

Я обошёл все углы с нищими, всем положил за упокой души Саши непомерно большие милостыни. Они, видно, думали, что я радуюсь Рождению Иисуса, а я мучаюсь смертью друга. И у меня кружилась голова.

Я думал о бездне, в которой Саша оказался. Я искал защиты от боли утраты, но я не мог найти. Есть ли защита от горя?

Сначала нужно сгореть дотла. —
Дать горю вас раздавить.
А потом возродиться из пепла. —
Подняться и распрямиться.

Во время Сашиных похорон, думал о том, как Саша был опутан нравственными сетями. В душе я не мог не упрекать Инессу и Эвелину, не замечавших рядом с собой такого человека. Они всё кого-то высматривали, воображали, что где-то есть их несусветный идеал. Как он оказался перед ними наг! Как его хорошесть, его доброта, его достоинства обратились против него. Вместо того чтобы создавать вокруг него спокойную, творческую, вдохновляющую атмосферу, оценить талант своего мужа, быть партнёром, компетентным советчиком, вокруг Саши всё бессмысленная суета.

Я искал защиты от неизбежности. Я искал ответ на мучившие меня вопросы. Как странно устроено провидение, и как всё неправомерно. Кого обвинять? Передо мной всё проходило, всё виделось и исчезало. И я ничего не мог поделать со скорбью своей утраты.

Эвелина сразу стала заниматься практическими делами, вопреки Сашиным представлениям, что она растеряется, заболеет, не переживёт. Одета она была самым странным

образом: не в траурной одежде, а в каком-то вычурном восточном кафтане с брюками. Лицо её было красиво раскрашено, она потратила достаточно времени на свой туалет.

— У меня есть к тебе дело. Я должна тебя спросить о пенсии, наследстве, — обратилась она ко мне, беря меня под руку.

— Почему Саша распорядился отдать половину? По законам нашего штата, всё должно принадлежать жене.

Я заметил, что она уже всё знала, кому что полагается. Она читала завещание и рассвирепела на Сашу, потому что он разделил наследство между нею и сыном поровну. И это та, которая метала громы и молнии из-за ребёнка! Теперь, когда парень вырос, завёл гёлфренд и собрался жениться, теперь мать Эвелина не хочет делиться с сыном Сашиными деньгами. Мальчик уже больше не её, он теперь ей не принадлежит. Вот так распределяется забота и любовь. Материнская любовь. И мужская.

Я встретил сына. Это был крепкий, здоровый парень спортивного вида. Он был совсем не похож на отца, ничего не выдавало его болезнь, разве только некоторое подёргивание лица и вставленные в уши аппаратики. Он хорошо говорил и по–русски, и по–английски и вёл себя вполне по–деловому как распорядитель.

В прощальной речи я сказал только небольшую часть того, что я передумал и переживал. Я сказал, что был искренне привязан к Саше и его любил, что нас связывало. И как Саше в конце жизни открылось начало вечной любви.

Выступали разные люди. Кто более его любил? Кто был предан друзьям? Кто был верен своему слову? Кто мирнее относился к своим врагам? Кто-то из студентов прочёл в его память стихи. Все говорили, что он был хорошим человеком. Облегчило ли и успокоило ли ему это последние минуты?

Одна женщина, Сашина коллега из другого университета, просила у Саши прощения за то, что слишком поздно оценила его доброту и ум. Она призналась мне, что долго не видела за Эвелиной, ни его таланта, ни ума, презирала Сашу за малодушие, и только со временем поняла, как женщина может разрушить самого лучшего из мужчин.

Я отыскивал взглядом ту, тайную. Была ли она? Или это создано его воображением? На кладбище я заметил печальную девочку, совсем молоденькую, невысокого роста, тоненькую, которая стояла поодаль склонившись над цветком, который держала в руке, и плакала.

— Это она! — сразу же пронеслось в моей голове. И в этот момент раздался звук прощания, — последний звук Сашиной земной жизни. Я краем глаза видел, как она поцеловала цветок,

который послала вслед Саше, потом отвернулась и, не дав мне рассмотреть её лица, быстро ушла. Я глядел ей вслед и думал. Может быть, мне это привиделось, может быть, её не было, и это только моё уставшее состояние создало этот образ? Действительно ли я её видел? Я только знал наверняка, что больше я никогда не услышу бархатный Сашин голос: «Витя, ты не спишь? Давай обсудим проблему зла и добра. Поговорим с друг другом. С жизнью. Хочешь я прочту тебе свои последние стихи:

Сначала нужно сгореть дотла.
А потом?
А потом возродиться из пепла».

Эти слова высечь бы на нашем прямоугольном, мшистом камне, который далеко и одиноко лежит на берегу Финского залива и наслаждается ветром с моря. Может быть, это был бы лучший памятник моему другу.

Я стоял неподвижно и опомнился, будто проснувшись, когда ощутил чьё-то прикосновение — пора возвращаться обратно к жизни. Пора возвращаться из одних чувств к другим.

Весь город готовился к Рождеству, на окнах висели гирлянды, свечи, повсюду праздничное благоухание. Звонили колокола. Люди радовались, ликовали и возрождались. И мой любимый друг, и разбойник на кресте тоже, может быть, где-то там веселятся… В это Рождество я почти верил, что с Сашей мы ещё встретимся.

* * *

На другой день Ева вернула рукопись Виктору.

— Я читала со смешанным чувством. Было сопереживание, но было и душевное сопротивление против вашего друга. Почему такие мужчины попадаются в сети? Я всегда удивляюсь вкусам людей в выборе партнёров. Саша был в опьяняющей власти секса, бога Диониса. Любил ли он? Он не должен был так растворяться. Мне не нравятся люди, которых ничто не может привести в негодование. Жизнь в значительной степени бывает тем, чем мы её делаем.

— Кажется, это вы слишком. Я считаю, что кто любит, тот не подвластен разуму и воле. А как отделить страсть от любви? Сам Бог не может разграничить, что в нас идёт от природы, а что идёт от свободы. И что же тогда любовь, по–вашему?

— Любовь — это вольтова дуга, взаимность, а не так, что один горит, как факел, сам по себе и сгорает… в другом.

— А мне нравится любовь сама по себе как таковая. Просто любить. Любовь к красоте, к творчеству. Любить для взаимности? Ведь в любящем и есть творчество, он создаёт миф о своей любви и в ней черпает силы и вдохновение.

— Но почему же вашего друга любовь не рождала, а разрушала? Значит, нужна была любящая поддержка. И в глубине, в тайниках его сердца любовь иссякла, она не движущая сила, в его влюблённости нет смысла, как вы сами ему говорили. В этом трагедия, и не только его одного. Идти на поводу у Эвелины не нужно было.

— Мало есть мужчин, которые могут сопротивляться низшему влиянию жены. Не смешивайте непрезрительное, дружески приветливое отношение со слабостью и глупостью. Наверно, некоторым женщинам нужна «мужская реакция», потому что они сами не могут установить для себя определенные нравственные границы. Ваша «вольтова дуга» — редчайшее явление природы, почти как шаровая молния. Кто-то из немецких поэтов написал:

Кто был любим своей любимой,
Казной владеет неделимой.

Вокруг себя я что-то не вижу миллионеров.

— Мне кажется, что вы сами никогда не были захвачены чувством? — робко спросила Ева.

— Что бы я вам ни ответил, я никогда не скажу всего. Наверно, у меня мало согревательных сил. На словах… И у меня на самом деле нет ни в чём убеждённости до конца. Я смотрю на жизнь Саши и вижу, что человек собою не располагает, если хотите. Долг — как под душою закон, как обнаженный меч. Я не могу ответить на многие вопросы, наталкиваюсь на загадки, не могу объяснить Сашину жизнь, да и свою тоже. Вот так и стою с пустыми руками. Так того хотела судьба?

Давайте пойдём в ближайший кабачок и выпьем за несовершенство, по крайней мере, одного из нас. Может быть, ему ещё предстоят яркие и сильные переживания?

Они пошли вдоль прибрежной полосы, тянущейся до самого горизонта, шли и шли, и вскоре слились в точку, которую уже нельзя было отличить от воды, воздуха и земли, и слышен был только бесконечный шум одинокохолодного океана.

В повести использованы стихи Михаила Крепса.

ВСТРЕЧА ЗА ЧЕРТОЙ

В годовщину смерти моего героя Димента мартовской весной я посетила «глухонемые владения смерти» — кладбище, где он захоронен. Всегда вздрагиваю и съеживаюсь, когда вхожу в эти владения отсутствия и безмолвия, наверно как и все, сюда входящие.

Мои глаза быстро находят чёрный базальт памятника со знакомым звучным именем: Игорь Димент. Плита стоит прямо у дороги, ведущей куда-то вглубь, под крохотной сосной. Склоняюсь с букетом и дотрагиваюсь рукой до холодного камня. Дата его рождения обнародована, а моему мистификатору видно это не нравится — осенний жёлтый лист забился в две последние цифры и их прикрыл. Вы верите в чудеса?

Игорь! — невольно обращаюсь я. Вот и пришла я в твоё никуда — из моего ниоткуда — поговорить с никем — порассуждать о тебе. Молчание.

Теперь моя очередь врать, придумывать, мистифицировать, домысливать. И ты не сможешь опровергнуть мой миф о тебе. Ты уже ничего не можешь ответить, опровергнуть, приврать, выпятить, подменить причины следствиями, перевернуть всё шиворот навыворот, вывести невыводимое. Ничего уже я от тебя не услышу. Да и ты вряд ли услышишь меня. У тебя была игра с собеседниками, сюрреалистическая, зеркальная. Ты отражался сам в себе и никого не хотел слышать. Или, взглянув в зеркало, ты испугался и заплакал?

Может быть, монолог это результат кромешного одиночества? Сожалеть уже больше не о чём… твой последний жест отчаяния и одиночества не дошёл до меня, наверно, ты плохо разыграл свою жизненную трагедию. Нет ответа.

Память моя возвращается, крутится, зацикливается на каких-то обидах, наставлениях… Прошлое задевает как настоящее… и даже сильнее.

Тщетно отыскивать варианты, что-то узнавать, разбирать счета, ничего не понять и ничего не разобрать в твоей зачириканной жизни.

Ты боялся времени, людей, прятался в свои игры, прикрываясь от всего ложью, как щитом. Твой щит разъело, и он оказался решетом с дырками, и твой античный профиль не на нём, а под холодной базальтовой плитой.

Что я так разболталась? Потому что какая-то боль за тебя, за твой талант проникает и проникает. Ты не получил ни славы, ни денег. И мне не из чего сплести тебе венок. Почему ты не начал

новую мистификацию?

Теперь тут ты вровень со всеми «Привить к себе любовь пространства! «не удалось, сотворить свою жизнь из таланта, из несчастья, из боли, из неизвестно чего, из самого себя. Тихо–Тихо.

Прикрываю глаза ладонью от низкого солнца, смотрю вверх и прислушиваюсь к бесшумному шелесту крыльев пары канадских гусей, летящих задом наперёд, в обратном к Канаде направлении. Куда они летят? Наверно, они опоздали к весне и спешат к теплу к Рио–Гранде. Я смотрю во след их парения и неосознанно думаю: Есть ли там птицы с перьями? Машут ли они крыльями? От неба возвращаюсь к земле.

Как там под землёй? Где ты теперь? Что там после конца? И где твоя душа? Что осталось от неё? Горсть пепла. Твоему праху всё равно зима–лето, для него нет ни времени, ни боли. Где те электрические, квантовые частицы, которые создавали тебя?

Но ты молчишь, тут все молчат. Вселенная глухонемая. Вечереет.

А автомобили несутся меж сосен фривеев, обступая со всех сторон кладбище, и волны их шума отражаются от каменных надгробий, чтобы потом глухо замереть и исчезнуть в земле. Вижу как почтовая машина въехала в каменные кладбищенские ворота. Про себя улыбнулась: кто-то сюда пишет открытки, посылает посылки оставленным.

Гляжу почтальон бродит с сумкой по кладбищу и ищет адресатов, одному вручает — неоплаченные счета. Другому переливающему лабрадору — просьбы с пожертвованиями, тому — подписные издания., а этому — недосказанные слова любви и всем — рекламу зубного порошка и белые листки с тайнами. Пожалуйста, распишитесь… в ваших тайнах!

Распишитесь в недосказанном, в недоделанном, в том, что не предотвратили. в том, что не совершили. не до любили, не до сказали. не додумали. Кто-то ждёт ответа. Хоть любое послание ведь «почта в один конец», но тут всему предел. черта. Это поистине безответная, глухая.

А тебе доставили мою повесть?

Написала про тебя повесть «Горб Аполлона» («по горбу его плачет лишь осина.») но не знаю понравится ли она тебе? Может быть, я мало рассказала о твоём таланте, о щедрости, о том как ты, двигался бессознательно, помимо себя. Тебя обвиняла? Нет, я пыталась смешать несмешиваемое: смерть и юмор, красоту и уродство, чёрное–причёрное с блеском солнца. Всё, что есть на дне и возле самых небес, хотела перемешать вместе, нет, не перемешать, — тогда будет просто серый цвет, — нет, я хотела

оттенить яркость того, что есть в любом в миниатюре, а в тебе было в громадном преувеличении. Как удивительно близко могут стоять самое благородное и самое низкое!

Кто там в Библии закапывал талант в землю? И кто потом сказал, что нельзя дар зарывать, пропивать, разбрасывать. И для тебя, и для меня, и для всех. этот запрет, оказывается, живёт. Суд моего сердца за твой напрасный талант вынес мне странный приговор : время от времени терпеть острую горечь сожаления, которую я и перекладываю на бумагу. С верой в тебя мне было интереснее жить. Так не хватает твоего разбрызгивающего эгоизма, иголок твоего таланта. «Уж лучше без глупца, чем без вруна.»

Ты — за оставленность своего призвания — сравнял себя с землёй. Теперь ты ниже всякой травы и обнимаешься только с корнями голых деревьев. Твоё величие И моё повествование о тебе в какой-то мере попытка воскресить тебя из забвения.

Может быть, тебе показалось, что я идеализировала твоих женщин? Нет, думаю, что ты их больше возвышал, ставил выше себя. Ты не боялся холодных чувств, «бывает лёд сильней огня» и тьма ярче света. Твои мысли воспитались, кажется, в седьмом классе, и они завладели тобой так, что ты никогда не смог освободиться от их давления. Тебя опутывали моральные предрассудки. Хотя кто может в это поверить? «Страдания не стоили греха…»

Ты не боялся холодных чувств, «бывает лёд сильней огня» и тьма ярче света. Как до тебя достучаться? Если бы ты сейчас заговорил, что бы ты рассказал? Как там?

Слышишь ли ты меня? Но… чу.! Слышу.

Что? Что ты сказал? Ты что-то шепчешь? Скажи–же.

— Я столько страдал. Я блуждал впотьмах самого себя. Вдруг опомнился. Вдруг взглянул на себя со стороны, и отшатнулся. с отвращением, сошёл с ума, «Когда в тоске самоубийства.» Когда внезапно прозреваешь .

Я увидел, что моя жизнь полностью обесценена. Я обманул свой талант, но обмануть сам себя я не смог, и принёс самого себя в жертву.

Что теперь я думаю про моих женщин? Эти коварные открывались только мне, я думал, что я для них Бог! Они оживали в моих объятиях и улыбались. Ты ведь не знаешь как рассмешить сфинкса!? Я это делал! Я давал им жизнь! Я думал, что это — жизнь, а это — блуд. Теперь я знаю, как слабый мстит. Слишком поздно .

— Твои мысли воспитались, кажется, в седьмом классе, и они завладели тобой так, что ты никогда не смог освободиться от их

давления. Тебя опутывали моральные предрассудки. Хотя кто может в это поверить?

— Я закричал криком, когда увидел истинную Алиду — холодно, без единой эмоции меня столкнувшую… Выбросившую меня, моего любимого сына Акибу, прямо на улицу. в петлю.

— Ты и думать не думал, что струйки лёгкого дыма могут закручиваться петлями? А ты что думал? Ты ожидал, что оставленные подруги будут радоваться твоему новому ребёнку? Твоему замку? Твоей японке? Как же ты жил? Какие фильмы, какие пьесы ты собирался ставить и для кого?! Можешь ли ты ответить? Почему так ты превозносил непревозносимое?

Что ты там так тихо шепчешь? Не слышу слов.

— Они — суки. Они — б. лудницы.

— Но этот ответ пуст. Опять ты возлагаешь на других Это щит, за которым ничего не видно. Так болтают многие, просто так не понимая и не раскрывая. Ты разбуживал мимолётную страсть и этот неприхотливый замен любви тебя пленял и хорошо устраивал.

Ты мало думал о себе.

— Но много слышал я обратного твоему утверждению, что только о себе я беспокоюсь.

— Я говорю тайне самого себя, а не о беспокойном глупом эгоизме.

— Да разве эгоизм бывает умным?

— Во внутрь себя ты не заглядывал, не говоря уже о твоих подружках, до душ которых тебе было, как до спичечного коробка.

— А если бы и было, что там бы я нашёл? Безразличие души и тела! Можно ли взбудоражить пустоту? Те, которых любят не так, как они хотят, холодны и мстительны. Они затаиваются, ждут и ждут. и затягивают. Потом они вырвут и раскидают. Я уже больше не хочу залезать в дебри жизни. Я отмучился. «Ведь если можно с кем-то жизнь делить, то кто же с нами смерть разделит?» Ничего уже не отыщешь, и разве должно было быть иначе?

И всё стихло. Тишь. Молчание.

— Где ты теперь? Как там под землёй? Что же там после конца? Кем воскреснешь ты?

Но ветер промелькнул всё перемешал и. унёсся. И нет никаких звуков в ответ.

Оглядываюсь назад и за спиной вижу стоящую перпендикулярно к небу. точно такую же чёрную базальтовую плиту, всего в двух метрах, и на ней надписаны строфы кириллицей. Подхожу ближе. и удивляюсь. Это твой, Игорь, антипод — Миша Крепс нежный и добрый мой друг, лежит под

своими стихами. Твой сосед по вечности, у которого не хватало эгоизма, и потому, наверно, таланта. Аполлон с горбом и Аполлон без горба в трёх шагах друг от друга, придавленные навеки одинаковыми чёрными глыбами. Оба в иных эмпиреях.

В земном измерении нам уже не удастся вместе сесть за стол, выпить или посмеяться, вас больше тут нет, теперь «только смерть нас одна собирает». Там в антимирах вы говорите друг с другом? Что вспоминаете? Когда и где происходили события? Вряд ли возможен диалог, Ты и на том свете остался всё тем же. Хотя вы теперь там заодно.

Может быть припомните тот вечер, как однажды у нас в саду Миша шагнул прямо в бассейн, не отличая воды и земли, когда читал вслух стихи И. Б.. Это погружение в воду случилось как раз после обращения поэта к Марии Стюард. Миша произнёс слова: «для современников.» — плюх в бассейн — и ничего не слышно кроме всплеска брызг, и ничего не видно кроме кругов, растворяющихся на воде. Миша исчез под водой бассейна вместе с книгой и стихами. Через мгновение появившаяся Мишина голова выкрикнула окончание фразы: “...Была ты блядь!» Отфыркивается, и слово «блядь», причмокнутое губами и обрызганное Мишиной ладонью, отскакивает от воды и несётся по огородам и соседям. Была или не была?

Все согласились, что поэты красиво обставляют свои падения.

И когда тем же вечером собрался выкупаться в бассейне «трёхмерных пространств нарушитель» — Г. Ш. и уже подошёл к ныряльной вышке, то ты, Игорь, громко призвал:”Всем надеть презервативы!». «Нарушитель» оценил шутку усмешкой и прыгнул в бассейн. «Нарушитель» давно там с вами, «жизнь свою, как исписанный лист, в пламя бросивший.» Он, видно, не следовал твоему совету, нарушая пространства морали, и быстро стал небожителем. А стих И. Б., ему посвящённый, остался в нашем пространстве.

Вспомнил ли ты, Игорь, как добрый Миша тебя, меня, Эру ещё нескольких человек, отъезжающих в другие страны, стал обучать английским слогам, и как ты прикинулся, что первый раз услышал английские буквы, и что ты никогда не учился иностранной азбуке. И хотя и в школе и в институте ты занимался английским бормотанием, но тебе хотелось это скрывать, чтобы в сравнении с начинающими с алфавита быть гением. Миша и все в группе были потрясены твоими фантастическими способностями. Ты вытворял такое, что казалось, должен был бы по приезде в Америку писать выше Шекспира. Ты насыщался своим превосходством над тупицами, а не обогащением своих знаний. И так всегда. Перейти на другой

уровень обучения, значило потерять это смешное утешение, а тебе лучше слыть, чем быть. Миша тогда довольно быстро получил разрешение на выезд, и твоё английское царение закончилось. Как ты там слывёшь? На каком языке общаешься?

Уже в Бостоне, после нескольких лет в Америке, вы с Мишей встретились. Мне жаль, что потерялась Мишина пародия на посетителей нашего «салона», и помню только, как он тебя назвал «француз из Японии».

А как ты возил к Мише читать свою английскую пьесу? (Про твою пьесу я не буду ничего тебе говорить.) Сразу при входе в Мишин дом ты сказал: «Я отпустил свой лимузин, у вас улица слишком узкая, дома друг на друге, и лимузину нельзя было развернуться.» Ты шёл пешком. потому что весь был взмыленный. и у тебя не было в то время машины… Миша посмеялся над твоим пусканием пыли в глаза.

Теперь в этой форме существования между вами на лимузине и правда не развернуться. не вернуться в другое измерение ни по каким улицам. И даже пройти не просто. И не придёте вы ко мне посмеяться и поговорить о судьбе и времени.

Я попятилась и. качнувшись, наткнулась на других.

«Прохожий, остановись!

Я тоже была, прохожий!»

Эти строчки из юных стихов Марины Цветаевой пришли на ум, имитация разговора «из-под земли» мёртвой с живым, а у нас наоборот.

Любви много на памятниках, есть такие безутешные. трогательно–манерные, письменный фольклор. В надписях на надгробьях. оставшиеся оставляют свою любовь, не успев сказать при жизни ласкового слова. Я давно убедилась, что для мёртвых больше делается, чем для живых.

“…он мучит близких, а нежность дарует стихам» — некрологическим эпитафиям.

Тут ни по уму, ни по доходу не определить счастливых и несчастных, врагов, скряг, добряков, казаков, святых, разбойников. Все уживаются с соседями и с тишиной.

И все молчат. Наша вселенная глухонемая. Куда-то исчезли все звуки.

Всё это не в новость.

Прошлогодние сухие листья встревожено шебуршались по голым могильным надгробьям. Вдруг ветер переменился и подхватил охапку из них, пронёс мимо чёрного диментовского базальта, мимо моих зелёных ботинок, мимо звезды Давида и бросил в диабазовой ложбинке, выстилая для кого-то ложе.

Подошла к тебе по второму кругу, чтобы сказать на

прощание, что с той поры как тебя не стало здесь всё та же жизнь: повсюду сраженья, разводы, сплетни, газеты, вещи, боги, любовь. Всё та же жизнь с разговорами о перепутанном добре и зле, с горькими и сладкими пареньями, утратами и надеждами. Всё также много глупцов и мало мыслящих. Казалось бы люди теперь, имея интернетный доступ ко всему, проникая всюду, куда не имели доступа никакие знатные эпохи, должны облагораживаться, возвышаться, приходить в сознание, мы же скуднеем, мельчаем, разбегаемся назад в бессознательность, в бессмысленность, в хаос. Не на твоё ли колесо я лью водичку?

И всё равно я хочу верить, что эта жизнь, дорогой Игорь, продлевается любовью. без нас и после нас.

Сейчас я ухожу в свои дела, в свою жизнь, в мир, где приходится и любить и бояться, веселиться и плакать.

Тебя оставляю в безмолвии. Когда-нибудь я приду опять .

ЗАПИСКИ ИЗ ВАНДЕРВИЛЬСКОГО ДОМА

Моей матери Вере Киселёвой

Кто бы мог подумать, что я окажусь в Америке! За границей я ни разу не была, хотя с детства мечтала побывать в сказочных таинственных странах, ещё тогда, когда снежными зимними вечерами сёстры читали мне сказки, и потом в молодости, когда ночами восторгалась французскими романами и вместе с героями бродила по волнующему Парижу. И вот только в семьдесят лет мне удалось выехать. Неведомая и загадочная американская жизнь и я — представитель доживающего русского поколения.

Дочь намного раньше меня уехала в Америку и письма писала. Уговаривала нас с отцом переезжать, но мы и думать не думали, и ни в какую не хотели насовсем уезжать на чужбину. «Не под чужими небесами…» — как писала Ахматова — «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам», и как пели в наших песнях: «Не нужен мне берег турецкий…» Конечно, навестить родных и посмотреть Нью–Йорк, Рим, заграницу было привлекательно, но нам отказали в визе, сказав, что нас выпустят, если мы оставим Россию навсегда, без возврата. Как покинуть то, что любишь? Всё бросить, родных, друзей, людей, с которыми прошли весь путь — от весёлых патриотических возбуждений и надежд до полного падения коммунистических иллюзий. Ведь мы сроднились со всем своим поколением, со всем что переживала Россия, то переживали и мы. Вместе со всеми я встречала и переживала ужасные и грандиозные события второй мировой войны, блокаду, очарование Сталина и разочарование в нём. И первый спутник, и весь Космос, и падение Союза. Я любила свою родину, находила во всём только позитивное, и другого я ничего не могла представить.

Долго собиралась я в эту Америку. У меня внутри много разного в сторону Америки шевелилось. С одной стороны вспоминала, как после войны приходили американские посылки с вещами и продуктами, тушёнкой, какао, а с другой — какой-то протест был в душе, слишком уж все гордятся этой Америкой. С одной стороны тайное любопытство, а с другой страх перед неизвестностью. Только после смерти моего мужа поехала в гости: посмотрю, думаю, своими глазами на вашу хвалёную Америку. Но случилось так, что мне пришлось остаться тут надолго, уж, видно, навсегда. Вот уже восьмой год живу в Америке. Чего только я тут не насмотрелась и не напереживалась! Внуки и дочка всё время просили, чтобы я описала свои

впечатления про американскую жизнь, как встретилась русская бабушка со своими американскими внуками, как приспособилась к новому миру, что и как приняла и чему удивилась. Напиши да напиши!

— Это для вас интересно, а посторонним читать про старую бабку какое удовольствие? — отвечаю я. Что нового я открою про Америку после Колумба? И что такого особенного я расскажу? Ведь всем интересно читать про красавиц и принцев, секс, чтоб сладко глаза зажмурить и не думать о повседневности, а вы хотите меня, простую женщину, выставить на всенародное обозрение? И чего вы ожидаете от меня? Конечно, мысленно я здесь многое передумала, пересмотрела разные свои отношения, но сколько ещё остаётся непонятным, и как ещё ускользают значения отдельных событий. Как будто кто-то протянул мне лист репейника, вдруг превратившийся в скатерть— самобранку или плывущую лодку.

И всё-таки уговорили меня записать, что со мной здесь происходило и происходит. Вроде как работа у меня появилась, мне даже стало любопытно: как у меня всё получится? Все мои силы обратились к этой деятельности. Я сказала сама себе и им: «Делайте потом что хотите с этой разнородной смесью и моими мозаичными соединениями», но принялась писать, чтоб скучно не было.

Приступила я к запискам на следующий день после «маленькой истории с дирижёром, стоящим спиной к публике». Один эпизод, к собственному удивлению, подтолкнул меня к записям. Вот как всё началось.

Мы всей семьёй слушали оперу. Дирижёром был пожилой господин, вот только забыла его фамилию, какая— то немецкая, и программку концерта того вечера никак не могу отыскать, чтоб вспомнить. Ну это не так важно, а удивительно другое: он так бойко размахивал руками, так подпрыгивал, радовался, летал вместе с музыкой. Меня это поразило: в таком возрасте! Ему было 82! Потом когда мы обсуждали музыку, публику, дирижёра, дочь сказала:

— Дирижёры живут на свете дольше всех — всегда в музыке и в движении, — а я добавила:

— И спиной к публике!

— Бабушка, как ты могла так сказать: «спиной к публике?» Ты всегда жила «в публике», а тут у тебя изменилось сознание, ты почувствовала себя индивидуумом! — восторженно закричал внук Петя. И пока все они обсуждали мои слова, он прибежал с тетрадкой, похожей на альбом, и сказал:

— Бабушка, пиши! Ты философ!

— Да разве мне понять, что там умные люди, философы, рассуждают? Про высшие материи я не люблю говорить. Писавших об Америке столько, что мои взгляды утонут в этом потоке мнений и впечатлений. У меня никогда не было желания казаться выше, умнее.

— Бабушка, не преувеличивай своей обыкновенности, напиши, как тебе всё кажется, опиши разговоры с Машей, со мной, с родителями, с соседями, Феликсом… Так и пиши, — убеждал меня Петя и прочёл мне целую лекцию, как это будет всем любопытно.

— Ведь в каждой эмигрантской семье отыщется такой дедушка или бабушка! Через призму своего коммунистического опыта ты опишешь американскую жизнь, впечатления и факты. И как изменились некоторые твои воззрения. Это будет исторически интересно, встреча взглядов русского человека, прошедшего весь советский период, и твоих внуков — нового американского поколения.

И убедили они меня, я решила, что буду писать всё как вижу и видела, без всяких прикрас. Мои сведенья личные, может, и не всегда точные, нестройные и сбивчивые, но мои. И не обязательно всем соглашаться — думайте иначе! Найдутся и противоречия в моих записях, иногда вдруг так подумаю, а другой раз переменю это представление, к примеру, о женщинах, о неграх и о всякой другой всячине. И с первого взгляда можно совсем иное заметить, чем по прошествии лет. В Америку я ехала с одними взглядами, а оказались другие, и поначалу мне Америка не так представилась, как в последствии. Изначальность — есть ли подлинность? И если бы теперь кто-нибудь из прежних увидел меня — не поверил бы что это я, — так изменилась я и по внешнему виду, а главное, по внутреннему своему состоянию. Как говорит Петя «у бабушки произошла переоценка ценностей».

Вставлю два слова о том, кто я. Родилась я в самой глубине России, в Рязани, через три года после Октябрьской революции. До революции мой отец был священником, а после — бухгалтером в большом конном совхозе. В нашей семье было семь человек детей, я была младшая. В семье не было ни раздражения, ни беспокойств.

Воспитывали нас в старомодных взглядах: не врать, не ломаться, вести себя просто, не испытывать ни к кому ненависти или отвращения. Отец говорил, что все люди братья, учил нас никогда не делать другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Всегда настаивал, что умный человек при любых обстоятельствах должен находить себе дело. Я уважала отца и всю свою жизнь помнила его воспитание. (Вот и сейчас припомнила

его слова о деле.) В семнадцать лет я поехала в Ленинград учиться, там жила семья моей старшей сестры. Перед самой войной я окончила учительский институт и вышла замуж за однокурсника. Из-под венца муж ушёл на фронт, а я осталась в осаждённом городе и пережила ленинградскую блокаду. Выжить очень помогли золовки, они делились со мной и с семьёй моей сестры хлебными карточками и своими деревенскими припасами. Во время войны я встретила много хороших людей. Я не могла и не хотела видеть недоброго отношения между людьми. Муж вернулся с войны живым, был писарем у маршала Рокоссовского. Вместе с мужем начали работать в школе, я преподавать русский язык, а муж математику. Появились на свет две дочки Лена и Лиза. Жили себе и жили, работали. И вдруг старшая, только окончив театральный институт, уезжает прямо в Америку. Она ещё в институте вышла замуж за еврея. Не могу описать, как тяжело для нас было расставаться с любимыми, с чувством будто подписали смертный приговор, мы дали разрешение на выезд. И хотя муж к тому времени важный пост занимал в системе образования, но против дочкиного желания не мог пойти — любил её.

— Пусть испытывает судьбу и живёт по своей воле, — так и сказал. Как сейчас понимаю, любил дочку больше, чем «общую идею».

В Америке дочь поменяла специальность театрального критика на программиста, второй раз вышла замуж, родила Машу. От первого мужа, с которым развелась, у неё остался сын Петя. Одни внуки вырастали в Америке, другие в России, одна дочка тут, другая там. И сердце моё разрывалось между ними. И вот в самом начале перестройки я приехала в гости к моей старшей дочке Лене.

Я не забуду своих первых мгновений при подлёте к Нью–Йорку. Под самолётом Америка сразу ошеломила меня мельканием в одно и то же время машин, огней, домов, людей. Всё в сверкании, огни клубятся, ни одного облачка, самолёт дрожит, под нами всё несётся, прыгает, вокруг самолёта звёзды крутятся. С птичьего полёта Нью— Йорк стелился без конца и края. Целое море блеска, взглядом не охватить это чудо. Исполин, а не город. Фантасмагория. Неисчислимые огни, автострады, спуски, тьма людей, взад и вперёд всё несётся и воет. Другая планета. Марс.

Но на колени перед Нью–Йорком не встала: улицы узкие, как ущелья, теснящие дома, без всякого ансамбля, никакого соответствия между зданиями, и маленькие, и большие — всё перемешано. Гудзон не произвёл на меня впечатления, река как

река, — Нева красивее, у нас есть набережные, мосты, а тут к воде не подступиться, не подойти, вокруг только одни рабочие площадки. Удалось встретить коней с колясками, с извозчиками в цилиндрах, кареты будто из сказки, с удовольствием на них глядела. А люди отличались своим смешным видом, одеждой, неграми, весёлостью. На лицах не попадалось тягостного выражения, все как будто без переживаний. Пьяных на улицах не видела, никто спиртом не отзывался, да и курящих тоже не встретила. Но вовсе не понравились женщины, одеты кое-как, замшелые, заполошенные, неприглядные.

Нью–Йорк блеснул, как молния, как виденье — я только вскользь его обсмотрела. Через два дня полетели самолётом из Нью–Йорка в город, где жила семья дочери. Когда оказалась в американском самолёте, то стала всё оглядывать. Самолёт как самолёт, самый обыкновенный, ничего особенного, у нас даже больше есть, и стюардессы наши намного красивее, хотя эти внимательные, но всё равно не скажешь, что красивые.

Первый заграничный завтрак тоже не больно-то понравился. Всё чёрствое, запаковано, залеплено, замуровано — ничего не открыть, до сих пор удивляюсь на эту американскую запакованность. Всегда мучаюсь с открыванием. Американцы ко всему приставляют всякую всячину, чтоб больше денег брать. Конечно, не хочешь — не бери, но как соблазняют! В самолёте первого кровного американца увидела, что рядом со мной сидел… Разглядела его близко: тоже ничего особенного, как Гудзон, с подстриженными усами, с полноватыми щеками, лет сорока, лицом похож на нашего бухгалтера Василия Семёновича из жилконторы, такой прилизанный. Одет в блестящую полиэтиленовую куртку. Журнал всю дорогу разглядывал и крутил его перекручивал. И чего там такого выискивал? А впереди ехал негр, небрежно рассевшись в кресле. Живого негра я видела так близко впервые. Он иногда поглядывал в окно. Весь в золоте: браслет на руке, на шее огромная цепь и сверх неё маленькие цепочки, на пальцах кольца. В одном кольце камень величиной с булыжник, как повернёт рукой, так всё осветит, ну чистый бриллиант. Громыхал он своими цепями, громыхал, что самолёта не слышно было. И то ли пел, то ли сопел или что-то шептал под нос и рот держал открытым. А может, у него просто такой большой рот? Не успела хорошенько всех обсмотреть, как вышли из самолёта. Тут встречи, объятия, дом.

В первые дни я глядела на всё вокруг дочкиного дома, ходила вдоль улицы взад и вперёд, присматривалась, прикидывала, сравнивала. Тишина улицы неимоверная, ни людей, ни машин, ни магазинов, ничего. На улицах никого не бывает. Во время

прогулок и осмотров я время от времени присаживалась где придётся, привычных нам скамеек не попадалось, а ведь устаёшь. Через шесть домов от нашего, около внушительного кирпичного трехэтажного дома с барельефами, у крыльца была удобная приступочка, как завалинка. Я облюбовала её и сидела на ней. Никого нигде нет, одни только бегуны да те, кто с собаками прогуливается. Посижу и иду дальше. Удивляюсь, какие дома все разные, к одним приделаны веранды и верандочки, другие как замки с круглыми башнями. Попадались и с прямыми колоннами, и с римскими, и с готическими, один попался, ну в точности как наш русский терем с кружевными ставнями, с завитушками и круглыми боками. Крыши все крыты добротной дранкой и черепицею, а некоторые тонкими слоистыми камнями. Каждый дом со своим выходом, со своим характером, со своей жизнью и каждый с трубой. Хоть и не обнесены никакими заборами, никакой городьбой, кроме подстриженных живых изгородей, а не подойти. Посмотреть бы что-нибудь такое в этих домах.

Пишу много про дома, потому что они мне стали как знакомые, вместо людей я с домами разговаривала. Вишь какой стоит фешенебельный, но что-то краска на тебе больно яркая! А ты что-то пригорюнился, окна все законопатил? А этот двери так начистил, видно, ждёт гостей? Несколько раз переспрашивала у своих: неужели в таких домищах только одна семья размещается? Диву давалась: и зачем столько места?

Кажется, на пятый день моих прогулок, не дойдя ещё шагов сто до моей любимой приступочки, заметила, что рядом с ней что-то белеется. Это что же такое, думаю? Подхожу ближе, вглядываюсь: стоит скамейка вся новенькая, беленькая из плотного такого материала, как алебастр или мрамор. Среди травы, как Сивка–Бурка, из— под земли появилась: мол, Даша, присаживайся! Так и приглашают. Я даже покраснела, что кто-то заметил мои посиделки. Будто в мою тайну проникли. Невидимые хозяева приметили, что сажусь на их крылечко–завалинку и поставили нормальную скамейку. Я этих людей знать не знаю, не встречала, и какое им дело до меня? Пришла домой и рассказываю своим, как меня ихние американские соседи удивили и уважили. Может, это ваши знакомые? Нет, говорят, не знают их, но предполагают, что шибко богатые, автомобили у этого дома какие-то сверхскоростные. Петя сказал, что у этого дома видел стоящую амфибию — машину с поднимающимися дверями, как с крыльями. «Капиталисты, бабушка! Охраняют свою траву!» И мелькнуло воспоминанье, как в нашем дворе в Ленинграде сосед на крыше своего сарая гвозди набил, чтоб дети по крыше не бегали. И так их навтыкал, что несколько раз

ребятишки ноги себе ранили, одного мальчишку на скорой отвезли. Вот так оберегают свою собственность. А другого владельца «Волги», тоже из нашего дома, судили: он какое-то хитроумное устройство установил на своей легковой машине, откроешь дверь — током прошибает. И почти до смерти прошибло кого-то. У нас тоже собственники!

И не успела я оглянуться, как очутилась в американском госпитале, на восьмой день моего пребывания в Америке. Там такого навидалась, что не могу не рассказать. Батюшки мои! Куда попала?! Несмотря на весь страх, стала всё рассматривать. Приёмный покой, как аэродром, привозят на носилках с колёсами… Одного с полицейскими доставили, в цепях, видно, простреленный. Он громко что-то кричал, бесился, но как-то его быстро успокоили, видно, укололи и закрыли от всех занавесом. Каждого подключают к отдельному пульту и завешивают от других громадной шторой, ходящей на шарнирах. Дёрнут за верёвку и ты оказываешься в большой изолированной комнате с тьмой разных аппаратов, проводов, трубочек, показателей, графиков, компьютеров. Световые сигналы бегают со всех сторон, мне даже к пальцу прикрепили дрожащий огонь. Проводами всю обмотали. Осматривать меня стали по–всякому, один за другим подходили, не знаю кто они — врачи, сёстры, санитары, студенты? Кто в халатах, кто в резиновых рубахах, кто в фартуках, всё записывали и расспрашивали. Целый поток один за другим. Пришел со студентами профессор такой представительный, такой внушительный, что по замашкам я сразу его признала за главного. Так и оказалось. Он и делал мне эту сложную операцию. После его осмотра меня захотели положить в какой-то железный ящик, как гроб, и суют меня туда, и суют, я так стала орать, что меня оттуда вынули и больше не засовывали. Дали какие-то зелья… я уснула, а как проснулась, то дочь сказала мне, что мне будут делать операцию на сердце. Я совсем не испугалась, а даже любопытно стало, как это всё будет происходить. Я была уже не в своей власти и думаю: чему быть, того не миновать. Помру в этой Америке?

Утром повезли на операцию. Оказалось, целых восемь часов мне заменяли изношенные клапаны на новые, которые вырезали из моих ножных вен. Очнулась из небытия я по дороге в палату, сжала руку сестре, которая меня везла, она аж вскликнула и будто даже обрадовалась, что бабка живая. Сразу мне дали лёд сосать и через трубочку начали поить. Положили на волшебную койку, которая при помощи кнопок двигалась во все стороны, вниз, вверх. Изголовье на любой высоте. Одна в палате. Наверху подвешен телевизор, рядом телефон. Моим родным врачи

сказали, что операция прошла успешно. Дети цветов притащили, внучка Маша кругом их расставила. А как же я буду общаться-то? Только два–три слова знаю на ихнем-то на американском языке. Спросить— то как? Тогда внуки написали список по–английски и по— русски, двусторонний, для меня, — хочу пить, хочу встать,… и для врачей — что болит? где? как?… Это список у меня и сейчас жив.

В госпитале поразило, как сёстры так быстро и так ловко всё делают, так… шевелятся, что не угнаться, так искусно всё выполняют, а отдельные просто — артисты. Такие профессионалы! И что ещё было странным, по утрам при смене белья с меня рубашку не снимали, а разрывали, чтоб меня не вращать. Я когда увидела, что сестра порванную рубашку выбросила и что такое добро выкидывают, мне аж нехорошо сделалось. Жалко стало, такая хорошая вещь.

На вторые сутки пришёл ухаживать за мной ночной дежурный негр. Сам темнее ночи, наклонился ко мне, — я обомлела. Он подмигнул мне, показал мне большой палец, что мол, всё хорошо! И принёс мне сок и таблетки. Мы с ним разговорились. Как? Руками разговаривали, и понимали друг друга.

Сначала разговора у него обе руки были заняты, но он освободил их для общения. Перво–наперво он дал понять, что любит Россию и русских. «Рашен, — говорит, — гуд». Я киваю головой: «Очень гуд! Да!» — «Сталин — бед, бед! — и будто бы пистолет из пальцев сделал и показывает, — Пуф! пуф!» — мол, людей убивал. — «О'кей! — говорю, — очень бед, плохой человек». «Хрущёв! — тут он засмеялся, — фанни». — «Фаня, — отвечаю, — большая фаня!» Тут он показал уши у Хрущёва, приложил ладони к лицу, потом снял башмак и смешно так скорчился, изображая, как наш вождь стучал сапогом в ООН. Хрущёв в негритянском обличии. Мне смеяться было больно, но я всё равно смеялась, думала, швы от хохота разойдутся. Вот бы по телевизору его показать, все бы ухохотались. А потом: Спутник! И как пошёл показывать, как спутник летает, аж до телевизора долетел. Горбачёв, Ельцин… Россия. Столько знакомых слов!

Видно, он тоже английского не знает? — подумала я. Потом спросила у Пети:

— На каком языке негры разговаривают?

— Бабушка, ты расистка.

— Петя, да какая же я расистка, если мы с ним вместе чуть от хохота не умерли!

Один был неприятный момент в госпитале: я сидела на кровати и боялась лечь без поддержки. Вижу: идёт такая красивая

негритянка, врач или сестра не знаю, в белом халате, я её рукой позвала, мол, помогите. Она подошла ко мне, остановилась, одела перчатки, положила меня, а потом выбросила перчатки и вымыла руки. Меня это так задело, что она, наверно, брезгует без перчаток до меня дотрагиваться. «Бабушка, — мне говорит Маша, это так и полагается, ведь, может, она идёт на операцию в хирургическую или после каких-то заразных». Но ведь другие так не делали, и это мне почему-то не понравилось. «Русские вкладывают своё эмоциональное отношение во все переворачивания», — заметил зять.

А вот что самое удивительное в госпитале: не дают залёживаться, уже на второй день обязательно велят встать, посидеть, а на третий постоять около кровати, а потом и пройти три шага. На четвёртый же день моего пребывания я, опираясь на руку сестры, утром уже прошла по коридору шагов двадцать. Тем же вечером, поддерживаемая под руки дочкой и сестрой, обошла вокруг пульта, где сидели врачи и сёстры. Вокруг этого пульта с круговым прилавком расположены все палаты, похоже как на аэродроме диспетчерская, из которой видно, что где происходит, так и тут все больные у всех врачей и сестёр на виду. Я заглянула в одну палату, две койки — обе пустые, в другую — тоже нет никого, и так почти во всех комнатах. Один–два человека на всём этаже. Говорят, дорого тут разлеживаться, дешевле медсестру на дом присылать. После того как я раза три–четыре прошлась вокруг пульта с сёстрами, сказали, что утром после обхода врачей меня выпишут. Это был шестой день после операции. Вот такие вот чудеса!

В последний день пришли все дети, принесли цветы. Во время прощального обхода врачей я сама поблагодарила значительного профессора, что делал мне операцию. Я приложила руку к сердцу и показала жестом, что оно теперь роскошное. Он улыбнулся. Я почти сама оделась. Специальные люди, сестра с разными указаниями и негр–санитар в кресле–каталке через парадный вход вывезли меня на свежий весенний воздух. Передо мною сад с большими деревьями… Листья только–только появились… Всё зеленеет. А воздух как будто с взморья. Я всем нутром втянула в себя этот воздух, и голова моя помутилась… Меня с того света вернули… сердце моё исправили… воскресили! Какая забота, какое участие, какое отношение! И чем я это заслужила? За что? Что такое сделала я Америке? Захотелось выздороветь и выдержать это испытание моего организма. Я перевела дух, схватилась рукой за сердце и, не отнимая локтя от тела, прислушалась: оно тихо–тихо радовалось и благодарило Америку.

— Бабушка, это ты перед американским флагом так сложила руки? — вдруг услышала я голос Пети. Я и не заметила, что рядом стояла большая палка, и на ней висел американский флаг.

— Да, Петя, перед Америкой, перед врачами, перед вами… моими близкими, перед собой… Я сижу с новым сердцем. В моём возрасте в России никто не стал бы со мной так возиться — оперировать сердце. И защемило… Я осталась живой! Это ощущение привело меня в новое состояние.

И тут-то Америка меня сразу и взяла! С этой минуты я стала по–другому осознавать себя. Что-то изменилось в моём представлении об отношении к людям здесь и там. И обидно мне, что в чужой стране я почувствовала себя лучше.

Выздоровление шло для моего возраста быстро, почти без помех. Шрамы на ногах отлично заживали. Навещали меня сёстры, всё слушали, мерили. Как только плохо дышу, так говорят: везите в госпиталь, и там прямо на кровати откачивали жидкость из лёгких иголками. Несколько раз ездили, пока сам мой главный врач не откачал. Он всё сделал окончательно, ему сестра помогала, до этого молодые парни студенты кое-как возились, видно, халтурили, всё смеялись. Что и говорить, везде есть двоечники!

В период выздоровления у меня пробудилась первая американская зависть, смешно сказать, — крови захотелось! Чтобы поддержать организм, мне прописали два мешка свежей крови. Меня положили на кровать, подвесили мешок с кровью, вставили в руку трубку и стали накачивать. У меня сразу начала рука дрожать, потом я вся стала колотиться и не могу успокоиться. От новой крови я сначала замёрзла, а потом стало жарко, как в лихорадке, то жар, то озноб, попеременно. Рядом на койке лежит бабка, ну лет сто, не меньше, ей хоть бы что, лежит себе розовеет, наливается, а у меня плохая реакция. Мне дали только один мешок свежей крови, а соседке–бабке два. Она вся сделалась румяная, весёлая, её спина выпрямилась, морщины расправились, быстро встала и пошла веселиться. Со всеми шутит, смеётся, ходит, а я лежу, дрожу, нервничаю. Глаза закрываются от слабости. А так хочу тоже развеселиться! И так бабке завидую! А мне больше «веселья» вливать нельзя, и так мне обидно, что бабка два пакета крови получила, а я только один. Я всё хотела спросить своего врача назначить мне новое переливание. «Ну, и попроси», — говорит дочка. А я думаю, что это всё по блату, как-то неудобно просить, если сам врач не предлагает. Внук говорит, что ему в детстве тоже было обидно, что он не мог съесть три куска торта на дне рождения, а только два, и утром чувствовал себя обиженным, что упустил

наслаждение.

Всего и не вспомнить. За операцию мы ничего не заплатили, мне всё оформили бесплатно. Я удивилась, но мне дочь объяснила, что если человек попал в госпиталь в Америке, то ему всё сделают необходимое, а уж потом разбираются, может ли человек заплатить или нет. А у меня тогда не было даже номера, под которым тут все американцы ходят.

Нужно было оставаться тут в Америке после лечения. Нельзя же ехать в таком состоянии. Конечно, скучно тут. Целыми днями сижу одна, дети на работе, внучка в школе, Петя в университете. Как в клетке, хоть и красивой. Там вторая дочка, родные и друзья. А тут? Кроме семьи и кота — никого нет. Даже на улицах, как и говорила, никто не попадается. Безлюдье и тоска.

Но ничего не поделаешь нужно привыкать к одиночеству, к новой жизни, и нужно как-то определить свой статус, получить документы на американское житьё. Я вроде как «невозвращенка». Как же получить законное существование? Дочь мудрила и прикидывала. Наняла адвоката, пришёл весёлый такой американец. Как только зять сказал, что адвокат 200 долларов в час получает, так я сразу распознала, отчего он такой развесёлый. Этот адвокат все дела имел с еврейскими эмигрантами, а я-то как сойду за еврейку с такой фамилией? Волошина Дарья Васильевна. Адвокат сказал, что мне могут ничего не дать. У евреев есть свои готовые истории. Им ничего не нужно изобретать, всё и так известно. Мне же может помочь только закон об американской гуманности: если тебе 75 лет, то тебя никуда уже не выгонят… мне же до гуманности четырёх лет не хватало.

Думала дочь и придумала, что у меня второй зять мусульманин, его мать была татарка, то есть чеченец, басурманин, и что… «мама, мы разыграем чеченскую карту. Тебя, мама, выдадим за страдания мусульман».

Дочь объяснила, что выгодно для меня говорить, вспоминала вещи, о которых я забыла и думать: как не приняли в консерваторию, как у мужа были неприятности после того, как он водил по школам английскую делегацию.

И вот пришли на экзамен… в государственный небоскрёб. Всё кругом официальное, а дочь как переводчик со мной. Вошли в кабинет, представительный такой мужчина сидит за столом. Сверяет бумаги. Государственный человек. Наш приход сразу заметил, сказал приветствие. Сначала спросил имя, сколько лет, а потом поинтересовался: как мы жили в России-то?

— Очень хорошо жили, весело, приятно, все вместе ели, пили, — отвечаю. Я была всем довольна, на всё согласна и ко всему привыкла. Иное было время.

Дочь переводит. Я гляжу в окно, за стёклами дождь пошёл, так и шпарит по окнам. Обмывает небоскрёб.

— Вас никто не преследовал? — спрашивает экзаменатор.

— Нет, говорю, никто не преследовал. А про себя думаю: что я, преступница какая, воровка? В нашем роду все честно работали и никого не было, чтоб в тюрьме сидел и чтоб преследовали.

Дочь говорит что-то по–английски, я смотрю на неё, она как-то раскраснелась.

— У вас один зять еврей, а другой мусульманин?

— Да.

— У вас были неприятности из-за этого? Вас как-нибудь дразнили? Или называли?

— Никто нас не дразнил, называли нас «интернациональная семья», и мы дружно жили со своими соседями и окружающими.

А про себя думаю, почему же нас дразнить должны? Мы такие же как все, вполне достойные люди. Мужа моего все уважали, он потом работал в Профсоюзе учителей. Я, наоборот, оттенила, что мы приличные люди, со всеми в хороших отношениях.

Слышу, что дочь что-то долго переводит. А дождь всё хлещет и хлещет. На такой высоте отмыть окна не так-то просто, вот дождь и помогает.

— Вашего второго зятя выгнали из военной академии? — спрашивает экзаменатор.

— Сам виноват, плохо учился, — отвечаю я.

Этого зятя я терпеть не могла, больно гадкий и самоуверенный. Муж моей младшей дочери. Выгнали его из-за младшего брата, тот в тюрьму попал. Так и сказали: не уследил за братом, плохо на него влиял. Но, я тогда подумала, что это какая-то неосновательная причина. Наверно, он приврал, а сам просто плохо учился. Лентяй и выпивоха.

— Его на улице избили, а потом арестовали как лицо кавказской национальности?

— Он пьяный был, его и побили, — отвечаю. Но сказавши это, я уже досадовала на себя, что сказала про пьянь-то, как-то стыдно наших людей позорить. Кто б его трезвого тронул? Он такой битюг. И не похож Аркашка совсем на лицо кавказской национальности. Я думаю, что за глупые эти чеченские бандиты! Ну, что они хотят? Черти окаянные! Их надо передавить, как клопов. Сколько плохого они делают для нашей страны. Да и для своей тоже.

Тут я вижу, что моя дочь стала совсем красная, возбуждённая, подняла глаза в потолок и, почти не шевеля губами, произносит: «Говори что-нибудь, стихи, песни. Покажи, что ты играешь на пианино». Я сделала пальцами движения игры на пианино. Я

люблю играть народные песни, нравятся их мелодии, часто пою и романсы, и частушки. Вместе с золовками любила сочинять. Но петь не попросили.

Слышу, что дочь что-то долго–долго говорит по— английски, на меня показывает, руками размахивает, что— то ему объясняет, разнервничалась. Достаёт газету американскую и в неё пальцем указывает. А представитель в книжечку всё записывает, газету взял, посмотрел и в папочку положил. Адвокат тут же сидит, напротив, но уже не хохочет, а смирный такой стал, только косится на дочь, ни словечка не говорит, но рот приоткрыл. Меня уже никто ничего не спрашивает, а только между собой по— английски объясняются.

Посидели мы так, посидели и вышли. Это, однако ж, не всё: я ещё показала свой серебряный крестик, который ношу. Почему-то дочь попросила, я и вынула его из-за пазухи. Оказывается, как потом мне сказала дочка, я должна была доказать, что я дочь священника — поповская дочка, и меня из-за этого не приняли в консерваторию. Это была правда, все так и было… Я так мечтала быть пианисткой. Поэтому-то и попросили меня «поиграть» пальцами.

Как только мы распрощались с адвокатом, то дочка меня строго так спросила, аж напугала: «Мама, почему ты так всё плохо отвечала?! Ты всё забыла, как я тебя подготавливала!?»

— Почему плохо? Наоборот, я всё хорошо говорила, правду, как чувствую. Я не умею врать.

— Тоже мне князь Мышкин! Ведь мы добивались для тебя статуса «политического беженца», а какой же ты «политический» беженец, если тебе всё там нравилось, всем ты довольна? Почему же ты просишь убежища в Америке?

— А что же, я должна гадости про Россию говорить?! Жить теперь буду здесь, а там моя родина.

Дочка махнула рукой, и объяснила мне, что переводила она всё по–своему. Но экзаменатор заметил, что она всё не то переводит. Наверно, не совпадало что-то по ритму или ещё как-то так. Тогда она объяснила ему, что, мол, мать запуганная и до сих пор правду боится говорить и что, якобы, на меня устрашающе действует официальная обстановка. Оказалось, что у этого представителя жена из Бразилии, и она тоже всего боится и никогда не признаётся, что там люди исчезают среди бела дня. А я и не слышала про такие исчезновения.

Я многое тут узнаю о политике. Дочка так расписала мой страх, что этот государственный человек поверил и посочувствовал мне. Видно, жену любит! Ведь мне через две недели прислали статус: «политический беженец»! Я дочери

только говорю, чтобы она никому об этом не рассказывала, ведь кто-нибудь может донести, написать, что это не так, и меня ещё вышлют из Америки. Но она меня утешает, что американское правительство не пойдет против взрослой женщины, и не будет позорить своё гуманное отношение к людям.

Внук меня насчёт чеченцев пристыдил и объяснил мне, что они тоже люди, и мирно нужно договариваться. Как с бандитами можно договариваться? Потом и дочка меня пристыдила: как же так, мама, ты такая добрая, а так рассуждаешь? Запутали они меня окончательно, не понимаю я политической обстановки.

— Бабушка, — говорит мне Петя, — ты должна меняться.

— Как меняться, если я так привыкла?

Внуки совсем американские, сталкиваюсь по политике. Всё смотрю на них, чтобы больше узнать и заметить различия: середина столетия и его конец. Какие у них увлечения, взгляды? Есть ли у них наши романтические мечтательные идеалы? Похожи они на нас или нет? Замечаю, что слишком деловые тут, всё рассчитывают. Маша даже калории считает и считает! Я ей как-то сказала, что нужно высшую математику знать, чтоб такие формулы освоить. Вроде она ещё и не начинала есть, не накладывала ничего в тарелку, всё пусто, а она утверждает, что уже всё — наелась. У них такая мода, чтоб тоненькими— тонюсенькими стать, прозрачными, аж просвечивать. Одна девчонка в их школе такое воспитала отвращение к пище, что чуть не умерла: не хочет есть, да и всё! Я про такую болезнь и слыхом не слыхивала — «анерексия». Хоть внуки и употребляют странную и безвкусную пищу, но ведь всё равно есть-то надо. Вкус их утренних каш похож на саламату, что моя мать готовила, — она жарила, жарила муку в печке, чтоб мука сделалась коричневая, потом заливала её кипятком и добавляла масло. Маша с Петей разбавляют свои хлопья молоком и масло не кладут. Я попробовала, саламата вкуснее.

У меня тоже тут аппетит со временем прошёл. Поначалу я на всё набрасывалась. Без конца в китайские рестораны повадилась ходить, в России знала о них только понаслышке, и хоть я не стала есть ихних лягушек, устриц и всяческих морских тварей, но отдельные блюда мне очень полюбились. Сейчас уже так набаловалась, что ничего есть не хочу, не так, как по приезде, и не так, как в России. Вот раньше такое наслаждение получала от колбасы, ветчины или от обсасывания косточек у бараньей грудки. Я немного не туда забежала, вернусь к внукам.

Вот я посмотрю на внучку Машу, как тут женщины сызмальства приучаются себя уважать. Я читала ей поэму Пушкина про бабку, золотую рыбку и разбитое корыто, ей тогда

только тринадцать лет исполнилось, русский язык у неё наичистейший, с лёгким акцентом. Когда прочла, я спрашиваю:

— Ну, Маша, какой смысл, мораль в этой сказке? Ты поняла? А она и отвечает:

— Конечно, поняла, бабушка, нужно было бабке с а м о й идти к рыбке, а не посылать деда!

Я так и обомлела. Вот тебе и на! Как американские-то девчонки рассуждают! Всё не по–нашему. У нас-то было объяснение: слишком много захочешь, — ничего не получишь. Здесь же всего хотят, предела нет. Я вот уж недавно сказала Маше: Не ходи в шибко трудный университет, выбери что-нибудь попроще. Как она на меня посмотрела! «Бабушка, у тебя отсталые взгляды. Тут женщины на равных с мужчинами, а не сидят за печкой!»

И как ни прикину, вижу, теперь мужчины должны приготовиться к матриархату. То-то, я смотрю, они всё больше на туземках, на раскосых островитянках женятся. Те, видать, не вбили ещё себе в голову карьерных идей. Женский вопрос, как у нас говорили, тут решается иным способом. Уж и не знаю, как это свободное общество устроено на какой идее? Кругом гражданские браки, новые статусы: какие-то гелфренды, бойфренды, не муж и жена, а тоже уважаемое состояние. У нас были некрасивые слова для тех, кто не приписан друг к другу, не расписан, уж как только не называли -»сожительница», «любовница», уж не говорю о… более непристойных названиях. А тут вроде так и полагается. Мне даже это понравилось. Нет тут предрассудков, а что есть? Любовь или на вроде как? Разводы… Протесты. Но вот не нравится, как тут одеваются женщины, особенно молодые, иной раз просто срамота, всё разодранное, обвислое. Майки и трусы. Чего только я не насмотрелась на Маше и на её подружках, и время от времени мы с ней обсуждали их наряды.

Как-то она вместе с другой девчонкой появились разодетые в мужские пиджаки, да ещё размера на три больше. Ну, настоящие хламиды. Я разинула рот и стала пристально их рассматривать.

— Машенька, вы так, в этаком обличии, на улицу пойдёте? Откуда у вас эти обноски?

— Это нам дедушка Эстэр подарил, — отвечает Маша.

— А брюки на вас в гармошку, все в дырках, как у пьяного Васьки Клюя.

— Ты, бабушка, из пятидесятых! — со смехом сказала Маша. И через секунду добавила: — Такая сейчас мода.

Я хотела их ещё устыдить, мол, вы просто уроды, да вижу, они всё смеются, и я тоже начала смеяться.

— Смелые вы девки, — говорю, — как в деревне пели: «Вот и

вышли — обе никудышны, обе неумелые, зато девчонки смелые!» Себя изуродовали, чёрной краской губы намазали. Красоту всю замаскировали. Волосы закрыли шапками задом наперёд вроде тех, что грузинская шпана на рынках торговала. «Аэродромы» их звали. Ни каблучков тебе, ни туфелек, ни воланов на юбках говорят: «Ты, бабушка, из пятидесятых»! По–разному смеялись: они надо мной, а я над ними, над их нарядами. Хохочем мы, вдруг Машенька и говорит:

— Бабушка, у тебя буржуазный вкус!

— Это у меня-то? У нас считалось мещанством носить кольца и всяческие украшения, краситься.

— А что это такое «мещанство»? — спросила серьёзно Машенька, хотя смех ещё не сошёл с её лица. Моё первоначальное изумление сменилось размышлением, думаю, как всё объяснить? Как им понять, что самая молодость на войну пришлась, как нас готовили к жертвам… быть скромными… Как сказать этим молодым американкам, во что мы свято верили? Прюнелевые туфельки по булыжникам и перекрашенные, перелицованные платья носили. Я махнула рукой, думаю, глупо выставляться, нотации читать, где мы оказались с нашими идеалами? И что из того, что мы скромничали? Я — старая и они — молодые американцы. Что между нами? Океан, война, голод, коммунизм, идеи… — И с их стороны — благополучие, довольствие, ничем они не ограничены, неограниченность беспредельная… Где соприкосновение, в чём? И есть ли общая правда?

Нужно приспосабливаться и понять: что к чему? У них свои молодые мысли. Конечно, бесстыдство я не поощряю, но и от моды никуда не денешься. Наш разговор с Машей про штаны закончился тем, что я вместе с ней купила себе брюки в мелкую поло–сочку. Отвыкать приходится от платьев с оборочками и листиками.

Уже в первый месяц оделась с ног до головы, по— иностранному и, если бы я, так вырядившись в деревню явилась, меня бы признали за американку.

И сама меняешься и чувства все пересматриваются. С самого первого дня внуки и дочка всё переделать меня пытаются, а я целый век жила непеределанная. Мало помалу, с трудом и размышлениями я начала преодолевать свои привычки, хоть мне и не хочется в этом признаваться, но дети хотят, чтобы я именно об этом рассказывала.

Ещё в первый месяц моего американского житья к дочке приехал её знакомый литературный профессор, и мы отправились на Кейп–код. Все говорили: Кейп–Код! Кейп— Код! Тресковый «колыбельный» мыс, там действие «Моби Дика» происходило.

Курорт! Что, думаю, это такое? Длинная песчаная коса, врезающаяся в море, с маленькими деревянными домиками, с заскорузлыми просоленными сосёнками, ничего особенного. У нас в Карелии красивее. И разве это наши Сочи, с пальмами и белыми дворцами?! Разве это Гагры? Одна пародия на курорт. Немного похоже на Карелию, но не те камни, хотя тут есть океан. На самом краю этого Кода, в небольшом городке зашли в ресторан, такой шикарный, с медалями и наградами за лучшие рыбные угощения. Рыбьи чучела по стенам развешаны.

Лена говорит:

— Выбирай, мама, что хочешь: рыбу, устриц, тюну, лобстеров, мясо… Ну, что хочешь? Это… это или это?

— Да что дадут! — отвечаю я.

Профессор вдруг так сочувственно говорит дочке:

— Вот видите, как в России, — «что дадут», всё примем, всё съедим, и никакой ответственности. «Сказали, дают…» Такая российская убогость.

Они с дочкой долго обсуждали, почему я так сказала?

А почему я так сказала? Да потому, что так привыкла. Я верила в то, что говорили. Привыкла, что ты ничегошеньки не стоишь ни для кого, везде тебя унизят, оскорбят, обхамят. Это у нас так принято — и привыкаешь.

Сейчас у меня уже меньше стало самоунижения. Иногда даже удивляюсь на себя, как поменялось моё ощущение. Мне теперь иногда становится стыдно, что мы, русские, с одной стороны, всё к дверям жмемся с железной кружкой, а с другой, напускаем на себя бог знает какую важность. Как в стихах Ахматовой:

> Но в мире нет людей бесслёзней,
> Надменнее и проще нас.

У моей американской внучки Маши совсем нет — «что дадут, то и возьму». Пошла она устраиваться в модный магазин на летнюю работу — продавать их вещи. Оделась, как всегда в удивительное, на этот раз в ночную рубашку с тонкими бретельками, ногти вымазала синя–чёрным лаком, волосы мелким бесом по лицу и плечам раскидала.

— Маша, ты так идёшь на работу устраиваться? — спросила я.

— Да, бабушка, я иду в самый роскошный, дорогой магазин, хочу там поработать летом продавцом. Мне хочется быть именно в таком магазине, где есть красивые вещи.

Я в удивлении посмотрела на неё, но ничего не сказала, я уже начала привыкать к их неограниченности. Любопытно, чем

кончится этот поход?

Маша вернулась с интервью и сказала, что хозяева предложили ей меньше денег, чем она запросила. «Ну, и что?»

— Я повернулась и ушла, — сказала Маша.

— Так и ушла? Не согласившись? — удивилась я. Они тебя брали?

— Да, но я им сказала, что мне этого мало, и хотя работа в их магазине мне нравится, но я хочу получать больше.

Я смотрела на неё с каким-то смешанным чувством страха и восхищения:

— Ты прямо так и сказала, что мало денег вы мне даёте?

— Да, так и сказала, вы мне даёте не столько денег, сколько я хочу.

— Маша, да как же так можно требовать, может, у них больше нету? Ведь ты же хотела там работать, почему же не согласиться?

— Бабушка, но ведь я хочу работать за то, что я считаю нужным.

Я стою разинув рот, смотрю на весь её гордый, разлохмаченный вид, про себя удивляюсь, а она продолжает:

— Но, бабушка, только я вышла из магазина, как хозяйка меня догнала, позвала обратно и предложила мне столько, сколько я хотела. Теперь целое лето я буду наслаждаться продажей изумительных шарфов и сумочек. И более того, они сказали, что за хорошую работу я буду ещё дополнительно получать от магазина разные подарки. Бабушка, важно, как держать себя!

Вот тебе, на! И почему-то у меня радостно забилось сердце от такого Машиного дерзновения.

В конце лета Маша получила обещанные награды, подарила мне и матери по шёлковому серебристо–серому нашейному платку, вручную расписанному, а себе оставила кожаную коричневую сумку в виде мешка с разными карманами, какой-то дорогой фирмы. Что хотела, то и получила. «Что дадут» — не взяла.

Учись, бабка!

И чем Америка берёт?! Очень заботятся о человеке, а там люди сами по себе. Никогда из книг не научишься тому, чего своими глазами не увидишь и не прочувствуешь на себе действие достойного отношения. В России смотрят на тебя, как на существо слабое, старое, «ну, что с него взять, он старый», вроде как низшее существо. Часто прямо в лицо говорят и по телевизору, и в газетах: — давайте дорогу молодым, старые идите на пенсию, не мешайтесь под ногами на дороге. Вы уже лишние. Молодые снисходительно к старым относятся, с какой-то

жалостью, как к маленьким детям. Что с ним разговаривать? Ему уже столько лет. А ведь жизнь раскачивается наоборот, в сторону мудрости. Тут возрастом тебя никто не попрекает, наоборот, говорят вам приятные вещи. Мои американские внуки слышать не хотят, что я старая. Такая разница! Я и вправду тут помолодела. Меня Маша даже на концерт рок— музыки приглашала.

Вот какой разговор у меня как-то раз с ними произошёл:

— Маша, что это за музыка, когда негры кричат, бегают по сцене, как шальные?

— Рэп, бабушка. Это современные песни, они нам нравятся.

— Про что же это они распевают в этом рэпе?

— Про жизнь в Нью–Йорке, про любовь, бабушка, про политику, неравенство.

— У нас в деревне парни под гармошку так же орали, тоже в рэпе, в темпе взвизгивали и подпрыгивали. Пыль из-под сапог, как из-под коней вылетала, друг за другом по кругу отчебучивали, и тоже выкрикивали разные лозунги.

— Бабушка, — стал рассказывать Петя — рэпе тоже возник на улицах, во дворах Бронкса, как самодеятельность, в конце семидесятых, ребята соревновались кто кого перекричит. Одевались в робы под африканцев с бусами и побрякушками. Бронкс против Квинса. Сначала был просто речитатив, а уже потом добавили музыку.

— Ну, в точности, как у нас в деревне, Бролино на Ощерино с переплясом. Только в наших деревнях это было в конце пятидесятых, значит, наши обогнали ваших негров в речитативе, — сказала я, а потом с грустью добавила, — правда, к семидесятым у нас это всё заглохло, молодёжь уехала в города. И петь перестали.

— Десять лет назад в нашей школе белые тоже не слушали рэп, а сейчас а в Америке рэп стал таким популярным, как Битлсы. Есть свои философы, и теперь не только выкрикивают стихи под музыку, но соревнуются в изысканной рифме. Один даже вводит элементы образования.

— У нас тоже были образовательные, смешные речитативы, случалось, и матершинные, тогда их называли: «частушки с картинками».

— Да здесь тоже иногда поют «с картинками», — сказала Маша и усмехнулась.

— А этот отбеленный негр как вытанцовывает, ну в точности, как Генка Колбаса. Наш такие колена и па выдумывал, плясал до забвения самого себя, взвизгивал и такие сочинял прибаутки, что вся округа сбегалась смотреть на него. На этого, вижу, тоже сбегаются. Вот только Генка всё бесплатно прихлопывал, а у этого

американского плясуна такое поместье, что он по нему на собственной пожарной машине разъезжает, будто десятилетний!

А эта певица, что выходит без рубахи, без порток! Я смотрю и удивляюсь: ну что может нравиться? Запыхается, валяется на сцене, перекручивается. Непристойные гримасы и фигуры показывает. Голос обыкновенный, ну не скажешь, что значительный.

— Бабушка, а мне нравится, как она поёт, мы с подружкой через месяц пойдём её слушать. Хочешь, пойдём с нами? Ты сама и послушаешь, — сказала Маша.

— Представляю, если я там окажусь, скажут, бабка-то сбрендила! Может, ещё на доске поехать?

— Да никто так не скажет и не подумает, бабушка. С нами дедушка Эстэр ходил на один концерт, как бы для охраны, но ему так понравилась эта рок–опера, что он теперь часто напевает оттуда «Джизус Крайст — суперстар!»

— А что это, за мода ломать инструменты? Швыряют их прямо в публику. Один вдребезги разбил хорошую гитару.

Мне так жалко её было, а публика хоть бы что — веселится, расхватала осколки как сувениры. Другой вскочил на рояль и начал ногами колошматить по крышке… Грохочет рояль. И это концерт? На сцене будто сумасшедший дом, девки мужиков распаляют, кривляются, те на них набрасываются. Такие циничные танцы. Никакой красоты. Говорят, у нас тоже так сейчас всё идёт в этом направлении, но в мою молодость такого не было. Наверно, и вправду, я из пятидесятых.

— Бабушка, а сейчас двадцать первый! Тебе нужно найти себе какое-нибудь занятие, — говорит мне Петя. Хотела ответить, что я уже старая находить себя, но отговорилась частушкой из нашего русского рэпа:

Ко мне дроля подошёл:
Милка, я себя нашёл!
Он нашёл, и я нашла!
Борьба за качество пошла!

А с этими неграми я сколько напереживалась! Внуки меня всё в расизме упрекают. Однажды ехали по негритянскому кварталу и вижу: кругом всё несколько в мусоре, но нет неосвещённых подъездов, парадные хоть и с мусором, но не грязные. Не знаю как правильно сказать: мусор есть, а грязи нет. Видели как стоят стулья на месте, где нужно припарковать машину. Спрашиваю, а почему стулья выставлены?

— Это так занимают места для парковки — отвечает мне

Петя.

— А что если кто уберёт стул и поставит свою машину?

— Ему проткнут шины, и он больше никогда не отодвинет чужой стул. Такой неписаный закон.

Негры сидят прямо на панели. Развалились.

— Что это они так расселись? — спрашиваю. И уже открыла кошелёк, чтобы милостыню дать.

— Они так просто сидят — отвечает Маша.

— У нас так не сидят, а если сидят, то рядом шапка — кладите денюжки! — говорю я. — Всё равно что-то я им не доверяю.

— Кому? — Петя спрашивает.

— Да неграм. Не доверяю и дела с ними иметь не буду.

— Бабушка, а они разве дело какое тебе предлагают? Ты ведь и негров-то нигде не встречала.

— Ну, не знаю, но что-то они мне не нравятся — отвечаю я.

— Ты понимаешь, что это в тебе говорит твоё врождённое отношение к чужим, или, по–учёному, априорное. Ты должна с собой бороться и понимать, откуда у тебя это презрение. От страха чужого.

— А от страха, так это что? Как его, страх-то, преодолеть, если я боюсь их.

— Ты нашла тех, кто ниже тебя.

— Как ниже? Вон какие здоровенные и страшные по улицам бродят. Есть по телевизору и приличные, даже есть красивые, но по улицам вон какая шпана шалдыбашничает.

— Бабушка, ты должна себя сдерживать.

— Не могу я себя преодолеть насчёт «реальности», «априорности». Не понимаю я таких заумностей.

— Ты ведь такая добрая, открытая, беззащитноуступчивая, и как ты можешь быть против негров, чтобы убить всех чеченцев, как клопов? Никак не могу понять как такие разные убеждения уживаются в одном человеке?

— Ну, если я так приучена.

— Неужели в каждом человеке в зародыше сидит палач?

— Может, и сидит?! Я люблю смотреть на разные происшествия, иногда читаю «Криминальную хронику», люблю про убийства, заговоры… Интересно. А вот философствовать — я не мастер. Никогда не умела за себя постоять, не могла кричать и злиться.

— Добрая, говорит Петя, а как же так ты читаешь «Криминальную хронику»? Любишь глядеть на происшествия? Патологию всякую обожаешь. Почему ты любишь разрушение и хаос?

— Что я могу сказать? Люблю смотреть на разрушение и происшествия, как-то они меня будоражат. Так всё спокойно, скучно, а тут просыпаюсь. Я когда маленькая была, помню, как разбила одну рюмку, чуть прикоснулась, удивилась, что она так быстро разбилась, я этим же движением смахнула вторую, посмотреть, что с ней случится, и она тоже разбилась. И мне вроде жалко рюмок и в то же самое время приятно, что так как хотела, так и сделала. Хотение было такое. А потом вроде всё прошло.

— Бабушка, тебе всё само по себе интересно без всякого морального центра. У тебя всё стихийное и нет борьбы внутри тебя… Всё вокруг есть, а тебя нет. Ты наслаждаешься и прекрасным и ужасным, смотришь на катастрофы. Ты из всякого явления для возбуждения себя вымогаешь сильные ощущения.

Заморочили они мне голову. Но постепенно я начинала отходить от приученности. По приезде я всё читала «Курьер», гороскопы, галлюцинации, убийства, ясновиденье… Чего только не прочтёшь! Дочка и внук решительно не хотели слышать, что там написано, обзывали эту газету «жёлтой прессой». Я поначалу всё верила в несуразности и нелепые слухи, что печатаются, сейчас уже реже туда заглядываю, всё меньше и меньше меня привлекают криминальная хроника и негры.

В телевизоре тоже часто этакие пустяки, фильмы ерундовые. Часто вздор и чепуха. Тут как-то смотрела один фильм испанский, одна порнография, и целуются, и целуются без конца, не хотят, а целуются, смотреть противно. И что интересного? А уж как мне эти модели надоели, тощие, как цыплята, видно, совсем не едят, и ходят, и ходят взад и вперёд. Ни титек, ни задницы, жидкие, никакой красоты. Часто в американских комедиях такие фокусы, которые мне кажутся глупыми. Мне никогда не бывает смешно, если кто споткнётся и упадёт. Я не понимаю, что смешного в том, чтобы бросить другому человеку в лицо торт? Петя говорит, что многим американским людям тоже не нравятся передачи по телевизору, и есть американские семьи, где совсем нет телевизоров. Этого я тоже не понимаю, как это живут совсем без телевизора?

Кроме «криминала», меня внуки обвиняли ещё и в пессимизме, или, правильнее сказать, в негативности.

— Бабушка, ты на всё смотришь негативно — заявил как— то мне Петя.

— Как это «негативно»?

— С оттенком какой-то обречённости. Что не будет такого цвета, не найдут этого размера, не пройдёт, не подойдёт… Не взойдёт эта трава, не получится…

— Я так привыкла.

Я раньше и не замечала этого, но постепенно стала подмечать, что нет–нет да скажу, как чувствую, а моим не нравится. Всю жизнь мне говорили, что, Даша, ты добрая, я и привыкла, всё говорить, как есть.

— Бабушка, я худею!

— Всё равно поправишься!

— Маша, ты, наверно, уже заболела? Иди в койку!

Птица влетела в окно. Я говорю:

— Плохая примета.

— Бабушка, не говори так.

Маша ищет щетку, чтоб почистить пальто.

— Вот, нашла одну!

А у меня невольно вырывается:

— И эта пропадёт.

— Как хорошо поёт молодой русский певец! — сказал Петя. А я отвечаю:

— Всё равно сопьётся…

— Бабушка, вода не закипит! — дразнит меня внучка. Всегда невыгодное для себя говорю, я выгоду свою не понимаю, мне всё равно. Другие всю жизнь хлопочут, что и как устроить, а мне лишь бы в сторонке где постоять. Не понимаю я удовольствия и наслаждения, врать не умею. Так вот какая штука-то, жизнь прожила, а врать не умею. Что можно от меня ожидать?!

Поехали к Маше в школу… Чем дороже школа, тем дети хуже одеваются. Меня школа удивила: в классе дети всех возрастов — и седьмого, и пятого вместе. Это не классы, а группы. У кого английский слабее, тот в младшей группе, а по математике он в высшей. Распределение идёт по знаниям. А где же недоучки?

— Бабушка, это для того, чтобы всем было хорошо.

— Маша, чтобы не унижать лентяев и чтоб они не догадались, что они отличаются от прилежных и умных? Хорошо ещё, что не оставляют на второй год успевающих, чтоб двоечников не травмировать.

Маша «брала», как они тут выражаются, не то, что дают, а что сама хочет взять, то, что ей нравится — и… все пятёрки… Йога, искусство, обсуждение фильмов.

— А каких писателей вы «берёте» по литературе?

— Шекспира, Сэлинджера, Роса.

— Про Сэлинджера я слышала, а этот Рос про что пишет?

— Про жизнь детей еврейских и итальянских иммигрантов в Бруклине.

— А до русских писателей кто-нибудь добирается? Кого из русских берут?

— Достоевского, Толстого. Бабушка, вот тебе не нравится, как в Америке, а в России в школе каких американских писателей изучают?

— В школе при мне — задумалась я, — кажется, никого не изучали…

Вот говорят «образование», «образование», а если спросить конкретно: что в него входит в образование? Скажите мне? И столько вы услышите противоречивостей! Я всему миру сообщу, что мало хорошего я видела и в нашем школьном образовании. Я всю жизнь хранила этот секрет. Работа была трудная, всё время на уроки приходили, проверяли, всё по инструкциям. В классах по сорок человек и как держать их во внимании? Слушать ничего не хотят, хулиганят, дисциплина — это страшное чудопредставление, иногда стоят на ушах. Моего характера не хватало урезонить сорванцов. Были хорошие ребята, но оставим это. А что проходили? Я слышу, как критикуют американскую школу, что тут пестуют тупиц и невежество, а я и про русскую такого могу порассказать, что лучше этого не трогать.

— Вот только непонятно мне, почему тут школьники стреляют в друг друга? — спросила я у Пети. — В наших школах возможно ученик бы застрелил учителя, завуча, того, кто по его мнению, ему вред нанёс, но чтобы просто по своим приятелям стрелять, я думаю в России было бы невозможно. Что ты скажешь?

— Бабушка, тут «тинэйджеры», мне кажется, чувствуют себя более одинокими, чем в России, потому что в американских школах нет таких, как у вас, тесных взаимоотношений между учениками, нет таких общих классов, в Америке все ребята вместе с родителями переезжают с места на место. Трудно дружить. И ты сама видишь, что учителя здесь так строго не обращаются с учениками, как в России, и потому не вызывают сильного «негативного объединения» учеников. В России вся злоба вытесняется на наставников.

— Это как при советской власти все были вместе против общего врага, — заметил зять.

А на кого Петя учится в университете, я так и не поняла. На политика? Социолога? Литератора? Музыковеда? Тут всё вместе идёт. Вразумительного ответа на мой вопрос я не получила. Как они мне объяснили, только после окончания колледжа начинается настоящий выбор деятельности, а до этого долго всё подряд учат, и перебирают, и перебирают до самой пенсии. Может это и хорошо, а то в семнадцать лет ведь как можно ошибиться.

Помимо внуков, важное место в моей американской жизни

занимает кот. Чтобы мне было повеселее, подруга дочки Тамара привезла из Нью–Йорка котёнка, рыжего, в чёрных круговых полосах. В этом маленьком котёнке с самого детства были заметны редкая хитрость и коварство. Если мимо дома проходила большая и значительная собака, то он ложился на спину и с поднятыми лапками подползал к грозному зверю. Как он это делал? Извивался всем телом, будто акробат или змея, приближался к собачьей морде и сдавался. Собаки от растерянности начинали его умилительно облизывать, кот замирал и хитро поглядывал. Петя его снимал на плёнку. Если же проходила маленькая невзрачная собачонка, то он не обращал на неё никакого внимания.

Когда кот подрос, то умных человеческих показателей у него появилось ещё больше. Дети называют кота Шопенгауэр, а я — Шоп. Он не только продолжал ползать, но и научился менять тембр голоса, мяуканья, в зависимости от своей нужды. Если ему нужно поесть, попить, то он такой нежный, подласкивается, трётся около ног, мурлыкает. А если Шоп чем-то не доволен, то тут не попадайся. Укусить и оцарапать запросто может. Лапой бьёт, сбрасывает с полки книги, шипит, устраивает «скандал» по высшему человеческому образцу, точь–в— точь, как жена моего племянника — Танечка, если что не по ней.

Чтобы пустили в дом, забирается по дереву на второй этаж на балкон, там садится на кондиционер и барабанит. Ходит со мной и со всеми «вокруг квартала», как собака, проходит больше километра, не обращая внимания на кастрированных, которые смотрят на него с завистью. Но самое «гениальное» — это его отношение к одному парню, который приходит к детям в гости. У него есть собака, я не знаю, как такая порода называется, без шерсти и похожа на нашего бульдога, только морда покрасивее. Я люблю лохматых. Так вот такие бульдожные собаки котов не выносят, и при первом знакомстве этот нахал неистово набросился на нашего Шопа. Кот извился в дугу, навострил уши, зашипел и вцепился лапами хулигану в морду, тот аж подскочил. Хозяин схватил своего дурака и оттащил. С тех самых пор, как только входит этот приятель и без собаки, кот идёт ему навстречу, тихо–тихо подкрадывается к нему и бьёт его лапой по ногам. Когда этот человек оказывается рядом с ним, то каждый раз шипит и норовит ударить. Как-то при целой толпе гостей кот забрался на высокий стул, вроде как задремал, но как только приблизился к нему хозяин наглеца, то Шоп зашипел и в мгновение занёс над ним лапу. Чуял опасный собачий запах. У нас в деревне была собака Глаша, она соседским курам не разрешала подходить к дому. Как Глаша наших кур отличала от

соседских? Они все одинаковые, но она отыскивала своих. Докончу про кота Шопа, общение с которым до сих пор доставляет мне удовольствие.

Как я уже говорила, если ему хочется чего-то, то он ходит вокруг ваших ног кругами, такой обаятельный, вы никогда не подумаете, что он хищник и что он всё припомнит. Ест он консервы специальные. Я однажды попробовала, ничего, немножко пресноватые, но есть можно. Наевшись, ложится и замирает, уже в эти самые минуты, если кто его побеспокоит, то он так хорошо огрызнётся, пожалуй, как человек, которому от тебя уже ничего не нужно. Только у людей эта реакция как будто не такая чистая, а вот у кота она непосредственная, хотя и не благодарная. А смотрит прямо в глаза, будто видит все твои проступки… и будто он умнее всех. Петя шутит, что я животных люблю, потому как они в бессознательном состоянии, «бабушка, ты себя с животными чувствуешь на высоте».

— Что же делать, Петя, если только с ними я могу разговаривать по–русски!

А зять Миша на Шопе изучает сознание и теорию гениальности. «Кот, — говорит зять, гениальный, потому что он расширил свою заданную модель, перешёл через неё, а человек для своего обихода не использует и половины того, что Бог заложил». Миша не очень-то любил нашего кота, пока кот не открыл ему эту «модель». Теперь коту иногда разрешается сидеть у зятя на коленях.

Ведь вот что удивительно в моём зяте. Я с ним первый раз тут в Америке встретилась, он такой добрый, всё улыбается, с приятностью говорит. Такой обходительный, всё спасибо, всё хорошо, всё вкусно, всем доволен. Физик, занимается научным разумом, делает компьютерных людей. Выводит какие-то формулы, по каким человек думает. Я никак не могу понять, что это такое «компьютер»? Все говорят интернет, интернет? Не понимаю — как можно людей вычислить? Можно ли? А я как посмотрю на Мишу, так и подумаю, разве может быть умным человек такой добрый и мягкий? Я так прямо дочке и сказала, что не могу поверить, что Миша умный, уж слишком он добродушный и простосердечный. Я не так умных людей представляю. В лице должна важность сиять, тогда и чувствуешь почтение. Дочь посмеялась, что я так рассуждаю, и сказала: «Так только обыкновенные люди думают, стандартами». А где же я возьму не стандартные? Я и есть обыкновенный человек. Так человек устроен. И если спросить, то большинство так и ответит, что умный человек значительный, величественный.

— Должен напыщенно смотреть на всех, сверху вниз? —

спросил Петя и показал.

— Можете смеяться сколько угодно, напыщенность — жалкая штука, и не путайте меня, я не про это говорю.

Что же меня, старую русскую женщину, объединяет с моими американскими внуками? Родственные чувства. А какие разногласия? Никаких. Ведь со взглядами не живешь. Живёшь с чувствами. Думаю, что я правильно говорю.

Жизнь моя потекла спокойно, как течёт жизнь многих бабушек и дедушек, приехавших в Америку и живущих интересами своей семьи. Утром после завтрака я была уже в саду и принималась просматривать газеты и журналы с новостями и историями про Россию. После этого тяжёлого чтения шла на прогулку по тихой улице поговорить с домами и вспомнить об оставленном, о кое–каких прошлых историях и предметах. В мыслях я невольно сравнивала наши убогие, жалкие вывернутые скамейки во дворах, тощую зелень с ободранными ветками с этими свежими, живыми изгородями из цветов, с тихим блеском покоя, прикидывала и задавала сама себе вопросы, на которые и знала, и не знала ответы: почему же тут так, а у нас? Иногда чувствовала, как стала спадать пелена с глаз и в другом виде вставали передо мной прежние события, как менялись мои, казалось, утверждённые отношения и понятия. Была поражена, как беззаботное зевание пробуждало такие неуловимые душевные осадки. Как будто бурый волк куда-то несёт и неизвестно, что дальше. Со временем, насмотревшись вдоволь, я будто бы смирилась с различиями тутошней и тамошней жизней, или просто перестала на этом сосредотачиваться, привыкла, как ко всему привыкает человек.

После приготовления обеда и разговоров с котом, смотрела русские телевизионные новости по интернациональному каналу. Все вместе собирались только на обед, зять иногда запаздывал, он всегда работал. Ночью можно было наблюдать, как из его кабинета шло компьютерное сияние и слышен был мягкий стук клавиш. Вечерами иногда спешили в ресторан или на концерт. И опять я подмечала, как хорошо американские люди обращаются с друг другом, и в очередях, и в толпе, не говоря уже об ослепительном ресторанном обслуживании.

В России почти все живут до самой смерти в семье, и моя мать, и бабушка, и дедушка. Моя прабабка долго жила у нас на печке, там и гостей принимала и помню, как мы, маленькие, к ней туда лазили, и она угощала нас орешками. Тут нет такого теснения и единения, всё устроено другим образом: люди независимы друг от друга, покупают и получают собственные квартиры, дома и в одиночестве грызут свои орешки. Приехавшие

эмигранты «покрываются» разными программами и заботами не только правительства, но и частных благотворительных организаций и отдельных филантропов, и обеспечиваются как содержанием, так и самостоятельным жильём. Я несколько раз посмотрела на подобное жильё, побывала в гостях, и мне захотелось тоже пожить независимо в русской компании, чтобы можно было общаться на родном языке. Живая понятная речь, обсуждения, общее прошлое, всё это меня привлекало, и после некоторых колебаний — ведь я в жизни так мало принимала самостоятельных решений и привыкла жить на всём готовом, — мы записались в один из таких филантропических домов. Лене приглянулся один больше других из-за того, что в нём хорошие квартиры, много наших и близко к её кварталу. Средства на этот дом поначалу отпустила миллионерша Вандервиль, и хотя потом уже и другие присоединились вместе с американским правительством, но за домом осталось её миллионерское имя. «Вилькин дом», так по— простому стали его величать.

Позже я побывала в замке Вандервилей в Нью–Порте, тех ли, что дали денег на наш дом, точно не знаю, они уж там больше не живут, спросить не у кого. Видно, весь капитал потратили на бедных? Их роскошная вилла на берегу океана теперь превращена в музей, и можно полюбоваться, как жили миллионеры в своём дворце среди тенистого парка с закрученными ветвистыми деревьями. Внутреннее убранство помещений замысловатое и многообразное: своды, камины, позолота, фрески, серебро. Банкетные залы, расписные потолки, картины, фарфор. Всё отливает золотом и блистает царской роскошью. Зимний экзотический сад со стеклянным сводчатым потолком. И это всё на одну семью?!

В нашем доме, хоть и нет такой ослепительной роскоши, но предусмотрено решительно всё: есть концертный зал, библиотека, столовая и даже магазин. Представьте себе большой многоквартирный дом в саду. Если пройти по саду, то можно увидеть, что сад совсем не запущенный, всё подстрижено, разбросаны клумбы с цветами. Парадный вход украшен колоннами, а стены жиром и грязью не вымазаны. В передней сидит привратник и открывает двери. Во внешнем обличии дома нет заскорузлости и замшелости. Кремлёвский санаторий может позавидовать чистоте и порядку. Конечно, не все хотят сюда селиться. Отец дочкиных друзей так прямо и сказал — не хочу жить со старухами. Я же захотела, и после разных формальностей одним весенним днём появилась в одной из квартир «Вилькиного дома» со всем своим имуществом.

Словом, две комнаты с громадными окнами, выходящими на

закат, балкон, кухня, ванная и кондиционер, а под окнами простор, ели, цветы — всё это стало моим прибежищем, моим независимым владением. Про квартиру и дом не могла не написать в Россию, как любо и приятно мне тут жить, как в часы захода солнца смотрю с балкона на город и кажется, что стены домов покрываются блестящими красками. А вечерами вижу как город превращается в океан огней, и в дневное время всегда вокруг наблюдается ясное и величественное спокойствие. Через неделю или две звоню своей институтской подруге Асе, что вот, мол, получила такое утешительное жильё, дети обставили, и что так я довольна… А она мне: «Твоя бывшая соседка Клава преподносит всем, что тебя дочь в богадельню определила. У самой-то дом! И места для матери не нашлось!» Я так и замерла, даже телефон чуть не выпал из рук. Ну надо же, чего только не наговорят! Вот есть какие люди, всё перевернут, извратят все факты. И отчего же это всё? Специально, чтобы не завидовать, чтоб всё опозорить, вишь как самим обидно. Я сказала тогда Асе: если бы мои российские подруги посетили бы меня, прогулялись бы по саду, вышли бы на балкон, ощутили бы на себе уход и заботу, то не говорили бы такого, и я бы хотела, чтобы у них всё было также. Квартиру обихаживают, приходят два раза в неделю, наводят порядок и чистоту. Можно даже иметь специального человека еду готовить и по магазинам ходить, но я отказалась — что я, барыня какая? Дочь говорит, что во мне ещё живёт «равенство и братство», вместо понимания, что любая работа уважается и убиратели ищут работу, а ты мол, не даёшь.

Я вдруг задумалась и долго передумывала, и перебирала в голове и это «равенство и братство», и недоразумения. И вот тебе на, как поняли моё письмо. Но ведь я и сама всё не так представляла и не воспринимала слов, когда читала письма из Америки. Помню, сколько разных слухов ходило про то, что в Америке… и то и не то, и чуть ли не под газетами живут, что и говорить, «другому как понять тебя?» Как представить моим старым приятелям разные услуги, что предлагаются для меня одной! А медицина?! Болей сколько хочешь — всё бесплатное. Лекарства и препараты разносят по квартирам. И разве не обидно? Всё в другом свете кажется по письмам и через океан.

Я часто рассматриваю людей в нашем доме. Сяду на лавочку, закутаюсь в платок и шубу и час другой смотрю. Какой народ живёт в доме! Сколько наших, говорящих по— русски, может, пятьсот, а может, тысяча! И сколько китайцев! Со всего земного шара в Америку текут люди. Я не вижу в американцах такого любопытства остановиться, обсмотреть вашу одежду, туфли, юбку. Я не знаю свойство ли это русских, как внуки говорят, но

мне оно присуще, привычно, и я гляжу решительно на всё в Америке. Как кто одет, кто наши жильцы, кто куда пошёл? Оглядываю прохожих, стараюсь распознать их характер, чем они раньше занимались, что любят. Иногда стараюсь прочесть, что у кого на душе, но опыта не хватает.

Тут есть люди и совсем старые, что с палками ходят, но есть и молодые. Вот идёт старая тётка в каких-то ярких тряпках, брюки в крупные полосы, как у клоуна Коклачёва, что с кошками выступает. А вот выглянула из окна второго этажа растрёпанная голова с большим носом, с виду настоящая ведьма. Там уверенно спешит к почтовым ящикам интересный господин в золотых очках, по виду полный профессор. Один прошёл в ботинках, из которых торчали тапки, позабыл их снять, а на куртке висела этикетка, видно задом наперёд её надел. С улицы Бассееной. Проковылял, прихрамывая на одну ногу, мужчина, похожий на большого начальника, а за ним мелкими шажками прошмыгнул в дверь другой, напоминающий Акакия Акакиевича с иллюстрации. Все гоголевские герои узнаются и представлены в самых ярких красках. Особенно много обоего пола Плюшкиных, не уступают по частоте встречаемости хвастунишки Хлестаковы, да и глупые Коробочки нередки.

Русских замечаю сразу, все телесные движения не такие как у американцев, жестикуляция резко отличается какой-то простотой, прозрачностью, неизвестного нет. В американцах всё перепутано, трудно отличить богатых от бедных, образованных от необразованных. Не могу в точности описать, почему так видно наше происхождение, но своих опознаю всегда, даже со спины, тут всё почему–то ясно. На новых местах люди не изменяют своего характера.

А иногда можно заглянуть в приоткрывшиеся двери и рассмотреть, у кого какое убранство. В отдельных квартирах мебель позолоченная, лакированная, хрустальные вазы с сервантами. Мне это нравилось раньше, у меня такого не было, но сейчас уже не хочу аляповатостей, да и дочка с внучкой застыдят. Я вместе с ними всё подобрала, они развесили картины, свой гобелен немецкий отдали.

Кажется, во второй день заглянула к соседке, её дверь справа от меня, испекла пирог, думаю, зайду, познакомлюсь. Она открыла дверь, такая хмурая, не улыбается. Окинув взглядом комнату, я решила, что оказалась на складе, где хранятся старые вещи. В комнате было видимо–невидимо мешков и мешочков. Посредине лежал скрученный рулон, то ли ковер, то ли перегородка. Нагромождение всего. Платья, кофты, тряпьё. Всё навалено кучей. Хлама целая комната, и от этой ветоши запах

удушающий. Позже увидела, что не только одна она такая, что и другие собирают всё старьё, поношенные вещи, изорванные сапоги, побитые чашки, всякую ветошь, будто нищие в России. И зачем?

И зачем все запираемся на замки? И я тоже. Петя спрашивает:

— А чего, бабушка, ты боишься?

— Мы жили в привычном страхе, так привыкли, и хоть охрана в доме и воровать нечего, а так… из общего накопленного страха.

Я не возьмусь описывать всех обитателей нашего дома, но расскажу о встречах и знакомствах с отдельными представителями. Начинаются они в лифте и на скамеечке. Если вы окажетесь в лифте с некоторыми из наших, то возможны самые неожиданные вопросы и комментарии. «А что вы так оделись? Разве на улице лето? Куда вы так торопитесь? Нажмите правильно!.». Приветливое слово мало кто произносит, все такую важность на себя напускают, только бы не уронить своего вида. Американцы вежливее, приветливее, всегда с улыбкой, дверь откроют, помогут.

Несу пакеты с едой, соседка прямо в мешки заглядывает и спрашивает: «Где это вы эти персики взяли?» — «Это не персики, это лук». «Из какого магазина несёте? Вы разве не знаете, что здесь он дороже, чем у Натана?» Всегда какой-то обидный смысл найдут… «Что же это вы сами-то несёте?» — Я отвечаю: «А что же мне, их здесь оставить?» Один симпатичный мужчина сразу вызвался мне помочь и донёс мои пакеты прямо до самой двери. Среди наших тоже есть вежливые и обходительные, но американцы по способу обращения далеко впереди.

Иду по в коридору и встречаю Цилю, что разносит программки русского телевиденья, и она сразу меня допытывать: «А ваша дочка замужем? А зять где работает? Есть внуки? Что они делают? А у них есть дом?…» И пошла, и пошла любопытничать, вцепилась в меня, как бульдог… «Вас возили смотреть Нью–Йорк? Вы там были?» Я думаю: «Ну, дело плохо!» Схватила программки и бежать.

Весь первый месяц я знакомилась со своими соседями.

Дверь в дверь жила Ида, и я пригласила её чаю попить. Это была ещё интересная дама, худощавая, подтянутая, хорошо одетая. Она вошла, обвела взглядом стены и потолок моей комнаты и сказала: «Вот этого я бы не повесила…, люстру нужно заменить, гардины поправить. Попросите дочку съездить в… там продаются хрустальные подвески, а это вешать нельзя…» Я стою в растерянности, а она продолжает: «Были ли вы в музее?» И, не дожидаясь моего ответа, пристально на меня посмотрела: — «Коллекция этого музея уступает Эрмитажу, но я всегда туда

хожу. Я люблю живопись и поэзию, я не пропускаю ни одной выставки и ни одного поэтического вечера. Вот вам реклама выступления поэтессы К. Вы, наверное, не читали её стихи?»

— Сейчас поставлю чайник и расскажу вам, как я с ней знакома, — сказала я и вышла на кухню. Только я вернулась, она взглянула на мой передник, отвернула от меня своё лицо и произнесла, будто со сцены: «Я ещё не встретила здесь никого по моему уровню, у меня среди наших эмигрантов нет друзей, потому что абсолютно все по моему интеллекту ниже меня, мне не с кем общаться. Я сразу вижу у всех потолки. Спасибо, я чай пить не буду. До свидания». Встала и ушла.

Вот тебе на! Не захотела слушать, что эта поэтесса, — моя племянница, и что у меня есть последний сборник её стихов.

— И что смотрят люди в музеях-то?! Думают, что вот— вот кто-нибудь из картины выползет? — прокомментировал Петя.

В первую же неделю зашла ещё соседка со второго этажа, посмотрела, посмотрела, молча посидела и ушла… ничего не сказав. Некоторые люди ничему не удивляются, им кажется, что это хорошо.

Со временем у меня завелись друзья, о которых я расскажу позже, но сразу по приезде в дом я поняла, что не нужно с налёта к себе приглашать и ходить в гости. Может быть, лучше послушать и осмотреться?! И я стала обживаться, осматриваться и привыкать к новой жизни. Я знакомилась, когда ходила по разным делам, в библиотеку, магазин, столовую или сидела на скамеечке возле дома. Слушала, о чём люди говорят, чем интересуются.

О чём рассуждают? Говорят большей частью о всяком вздоре… Такая разговорная чепуха. Приведу примеры самых обыкновенных разговоров на скамейке: «Что я сегодня ела на завтрак?.. Я отварила картошечки, положила лучку… Сварила суп с приправой. Вы знаете, какие вкусные солёные огурцы…»

«Где вы это купили? У Зины. У какой Зины? У Натана дешевле на три копейки…» Как прожить дешевле, как сэкономить? В разговорах часто проскальзывает мелочная щепетильность.

И про то, у кого что болит. «У меня спину ломит. А у меня вот уже несколько лет ноги… в икрах отказывают». Советы дают на месте. Могут вылечить от любой болезни. Прихлопыванием, приплёвыванием, припарками… «Американцы это не понимают.

Уж какие в этой Америке врачи! Только за деньгами гоняются».

Я не скажу, что люблю про высшие материи, но и подобные разговоры меня не притягивают. Спросят что— нибудь, но не

ждут ответов на вопросы, а продолжают своё, никому не интересное… А то начнёт кто-нибудь громко на всю скамейку хвастать, чтоб все слышали, и долдонит, и долдонит: «Моего сына все знают. Вы слышали, как он преуспел? Ведь умнее-то его нет никого». Будто верят, что люди не умирают до тех пор пока придумывают волшебные истории. Мне это мои дети подарили. Мои дети такие распрекрасные. Купили мне четыре хрустальные вазы…» Им хочется, чтобы все слушали, на всю вселенную рассуждают.

А ведь нередко бывает, что дети и вовсе не разговаривают со своими родными. Показали мне одну пару — муж и жена, ещё совсем не старые, она такая видная красивая женщина, а он хоть и неказистый мужик, но приятного вида. Так про них говорили, что у них была своя очень успешная компания по компьютерам. Их сын женился на красавице из России, они так радовались, что она своя, умная, что Гарвард закончила, и пригласили её управлять компанией. Первое время всё шло хорошо, компания росла, людей набирали, кажется, человек сто у них служили. Шёл обстоятельный доход. И вместе с доходом невестка стала забирать всё больше и больше власти: вы, мол, старые, ничего в американском бизнесе не понимаете. Нужно так продавать, а не так, как вы… А идеи-то все отцовские… И отец тоже упёрся, хотел управлять по–своему. Дело дошло до суда, компанию продали, все переругались, даже внука теперь им не показывают. Молва говорит, что мать сильно переживает, стоит под окнами, хочет маленького внучонка посмотреть. В детский садик тайком приходит, уж как там мальчишку— то обнимает, целует и плачет. Ну и что, что деньги есть, а гармонии нет. Но никто себя не видит со стороны. И такого можно наслушаться на скамейках! Какие там глубинные предметы?! Всё больше рассуждают о том как придать себе пущей важности.

Многие люди при переезде теряют несравненно больше, чем предполагали, и никак не могут смириться с новым своим положением. Ведь для некоторых людей почёт и уважение, которое было у них в России, несравненно больше, чем материальные блага. И тоскуют люди по утраченному значению в обществе. Думают, что будешь хорошо кормиться, поиться, так и всё? Тут в нашем доме все на равных — и бывшие профессора, и лавочники, разбогатевшие на пивной пене. В одинаковом статусе, ни богатых, ни бедных. Пенсия в 620 долларов, квартира… К своей среде человек привязывается, а тут теряется — нет привычной работы, окружения.

Почти все в России были в рангах генералов и начальников. Раз один такой плюгавенький мужичишко перед другим так

разгорячился, так распушился: «Я, — говорит, — должность генерал–лейтенанта исполнял! У меня, — говорит, — в подчинении пять тысяч человек работало!» Речь его такая самоуверенная. А рядом с ними сидела бабка в инвалидном кресле влезла в их разговор, и дребезжащим голосом перебила этого оратора: «Уж не знаю, как кто, а мой Лёвочка был директором фабрики. Как мы жили — так никто не жил!»

Одна женщина рассказала мне на скамеечке, что детям помогает, потому что они ещё не устроены. Говорит, что трудно зятю найти работу, что он там был электронный инженер, а тут развозит пиццу по домам. Эта пицца тут очень популярная, а я не вижу в ней никакого вкуса, с хачапури в сравнение не идет.

Но не только на наших скамеечках можно всего наслушаться. Если послушать радио или русский телевизор, то публика такие наиглупейшие задаёт вопросы, что я уверена, эти люди никогда нигде ничему не учились. Но ведь у нас было какое-то обязательное образование. Как люди себя не стыдятся?! И часто слышу, как про американцев говорят, что, мол, они необразованные, бестолковые.

— Вы заметили, что американцы гораздо глупее наших?

— Как я могла заметить, — отвечаю я, — ведь я английского-то не знаю.

— Я тоже не знаю, но вижу, что они всё равно глупее.

При таких рассуждениях приходит на ум: отчего это мы такие надменные?

Никто ничего о другом знать не хочет, талдычит своё, повторяет одно и тоже. Казалось бы, нет ничего удивительного в разговорах обитателей скамеек. Но я всё— таки удивилась. Одна дама, Сарра, разговорилась со мной в библиотеке, потом ещё несколько раз мы с ней встретились, вдруг сказала мне прямо в лицо, что она ищет жениха. Я подумала, что ослышалась, и переспросила: для дочки? «Нет, — отвечает, — для себя. У меня нет дочки, у меня сын. Познакомьте меня с кем-нибудь, жениха найдите! У меня намерение выйти замуж». Я посмотрела на неё внимательно, она старше меня лет на пятнадцать, вся скрюченная, с палкой, в морщинах. Она, правда, довольно грамотная, я с ней о книгах хорошо говорила. И тут такое странное дело. Она даже не молодится и не наряжается, как некоторые, видно считает, что и так хороша. Я совершенно растерялась, не знаю даже, что ей ответить, у меня комок в горле. Образовалась пауза, я молчу, а она продолжает: «Пусть ваша дочка мне кого— нибудь подыщет». Я несколько собралась и говорю смеясь: «Да зачем вам, Сарра, старый дед?!» А она мне серьёзно отвечает: «Я хочу молодого, старого я не хочу. Я могу с

любым человеком найти общий язык. Я много чего знаю и могу быть хорошей собеседницей и спутницей. Я любому счастье составлю». От такого её заявления я совсем онемела, хотела что-то сказать, но поперхнулась. Вот так меня она огорошила. С удивлением я посмотрела на неё, может, думаю, шутит. Из-под чёрного вельветового берета выбивались седые пряди, морщинистыми руками она держалась за толстую деревянную палку. Она без всякой иронии или смеха продолжала говорить о том, какая она умная и хорошая хозяйка и как будет с ней хорошо мужчинам. Если бы кто-нибудь взглянул на неё, то увидел бы древнюю старуху, девяноста лет, которой пора уже ползти на кладбище. А она туда же! Кого она может обворожить? Опять же, себя со стороны не видит. Вот такое забрала себе в голову. Ох, как люди много о себе воображают!

Я рассказала своим про встречу с бабушкой–невестой. И что мне они наговорили! Что очень хорошо, что так человек о себе думает, что у меня, наоборот, мало к себе любви, что я должна лучше к себе относиться, что я красивая и умная. Дочка так и сказала, что до самой смерти нужно быть молодой и что эта бабка — молодец! А ты, мол, из самоумаления готова прикидываться старой, неумелой. Почему бы тебе тоже не заняться собой? Ходи по утрам на гимнастику, делай причёски, маникюр. Я потом смеялась и про себя, и вслух: «Вон женихи идут! Этот на одной ноге! Этот на двух, но головы не может поднять! Этот похож на деревянного истукана! А у этого под рукавом лопнул костюм». Вот несколько однообразных мужиков сидят в гостиной и играют в домино, только сопят и прищёлкивают языками и костяшками. Здесь нет уже никаких страстей, не отыскать сердечных знаний. Какая там любовь, замужество? Омертвели уже все чувства. Смеяться люди будут. А дочь и внуки мне всё ладят и ладят, что я должна меняться.

И никто не поверит, что потом произошло со мной. Но это я так, в общих чертах, трудно описывать перемены, которые происходят в тебе постепенно, за годы, на нескольких страницах. Вот вы и удивитесь противоречиям, как я описываю. Если бы кто теперь увидел меня — не поверил бы и не узнал.

Давно заметила, что если женщина в летах и хорошо одета, кофточка переливается, всё уложено, причёска, маникюр, клипсы — сразу понимаю, что у неё — дочка. Подойдите и спросите. А на той, что кофта поношенная, туфли замызганные, одежда печальная, без ухода и нежной заботы, заброшенная, у неё — сыновья. Почему я знаю? Поручиться, конечно, нельзя, что мои наблюдения всегда точные, но большей частью правильные. Сын платья не пойдёт покупать, в магазин ему незачем, а невестка…

Как заставить невестку сходить со свекровью за платьем? Почти все женатые мужчины — подкаблучники, так у нас говорили, и не только такие, что с виду тихонькие, деликатные, но и те, что с гонором, орлы, и даже те, командиры, что жену бьют, вроде как верх взял, всё равно жена главная. Здорово ошибётся тот, кто поверит видимости, что мужчина управляющий. И как ни характерен он на работе или хладнокровен вообще с людьми, коснись всего отношения к миру, тут всё у мужчин от женщины. На первый взгляд кажется, что у них есть своё, а потом всё переменят под женским влиянием.

Она и унизит, она и возвысит, и до генеральского мундира доведёт. А другая так настроит, разжалобит, прикинется, что… забудет и мать родную, и ничего из него не выйдет. Не поддержит. Таких не мало на белом свете. Чем объясняется такая зависимость мужчин от женщин? Я не знаю в точности, но факт налицо. От секса вся их путаница в голове… Уж больно они зависят от этого, а секс, видно, чем-то связан с бесом. Так он попутает, что конец размышлениям. Я в молодости и не подозревала, что такую власть секс имеет. Я и не предполагала, какая это таинственная сила. Сколько мужчин, потерявших голову от этого, и бегают, и бегают за женщинами, волокиты, а они их за нос водят.

Мои наблюдения справедливые и не в пользу сыновей.

Как-то Петя принёс какую-то книжку американскую о том, что вроде как мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Вся Америка, говорит, зачитывается. А мне и читать не надо, я и так знаю, какая пропасть несоответствия между мужчиной и женщиной. Женщина цель свою лучше видит и знает, что ей надо, и берёт власть над мужчиной. Много мы с моей подругой Беллой об этом переговорили, она дополнила мои выводы: «А уж как, Даша, братья ссорятся?! Сёстры между собой значительно реже, опять же ведь между ними нет других женщин».

Завелась у меня подруга Белла, её простота в обращении меня сразу расположила, а её доброта придала мне смелости, будто бы расковывала. Скажу о ней несколько слов. Она нашла меня сама, уж и не помню, зачем зашла ко мне, кажется, занести какие-то бумаги для моего зятя от своего сына. Я сидела за фисгармонией, которую мне дети отдали, и с большим удовольствием на ней играла. У нас в Рязани у отца была такая же, может, чуть побольше. Сижу, сама себе мурлыкаю что-то под нос, и тут появляется незнакомая величественная дама. Я уже намеревалась встать и прекратить своё музицирование, но она жестом попросила не прерывать моего занятия, и через минутку сама присоединилась к моему пению. У неё был благозвучный

голос, чуть ниже моего, и мы с ней дуэтом в тот день перепели все песни нашей молодости. И Вертинского и военные. Уж и темно за окнами стало, а из моей квартиры ещё нёсся «старинный вальс, осенний сон…» Вместе всплакнули и… вместе потом сидели за маленьким столиком и за золотистым чаем. Вскоре опять увиделись и стали видеться часто, пока Белла не переехала в Нью–Йорк.

Белла была в Москве профессором, доктором наук, заведовала лабораторий по глухоте детей. Она была моего возраста, но с такими необычайными блестящими изумрудными зелёными глазами и пышными короткими волосами, что казалась совсем молодой. Белла хорошо знала английский язык, и без всяческих выкрутас посвящала меня в некоторые тайны и маленькие хитрости американского обращения и обслуживания нашего дома. Я не знала некоторых возможностей, какие предоставляются в Америке людям моего возраста. Ни про бесплатные такси, ни про бесплатные ленчи и даже телефонные заграничные звонки. Всё–всё мы с ней обсуждали: и Америку, и Россию и беседовали на разные темы.

Беллу больше всего поразило в Америке, как полицейские через дорогу переводят детей. А меня поражает, что машины на улицах не угрожающе едут, как враги, а пропускают пешеходов.

Восхищались подавляющей американской вежливостью.

В одном шикарном магазине мы разглядывали шубы, просто так, без всякой цели, ничего не собираясь покупать. Неожиданно продавщица усадила нас в плетеные кресла и угостила кофе. Оказывается, Белла ей сказала, что мы устали. Нам разрешили сидеть в этой роскоши столько, сколько нам угодно. Вот бы наших русских подружек сюда!

— Тут даже гадости политики говорят с улыбкой, — сказала Белла, — без оскорблений. Ругают друг друга с трибуны, а выходят вместе и улыбаются. В конгрессе все воспитанные, самые–самые происшествия выводят наружу.

Её сын говорит, что американцы общаются на уровне концепций, что сенаторы разных партий ходят вместе на обеды, приглашают друг друга в гости. Американцам не нужно дружить, чтобы общаться.

Белла и я этому изумились. Как это не нужно дружить? Ко мне приходит убирать квартиру Фира, так я с ней и чайку выпью и поговорю. Она готовится сдавать экзамены на врача, а пока убирает квартиры, так что же она хуже других?

А когда лекарства приносит один мужчина, русский, то я всегда его приглашу выпить рюмочку коньячку. Если мы с Беллой сидим выпиваем и он приходит, так как это так, — человека к

столу не пригласить? Мои внуки и Маша, и Петя тоже говорят: так американцы не делают. Но мы уж так привыкли, и от этой привычки не избавиться.

Я много чего узнаю здесь, в Америке. Прежде я некоторых вещей и не предполагала. Всё как новость. Только я всего не могу понять, многое хорошенько не могу разобрать. Душа у меня за русских болит. Почему Россия всё время в таком затруднительном положении? Есть какие-нибудь причины? Я никак не могу понять, почему американцы так мало за наш рубль дают? Внук смеётся, говорит, что это не зависит от американцев, а зависит от стоимости рубля, который потерял свою цену. Теперь мне всё как будто яснее, там кругом такая безалаберность. Я ведь вместе со всеми находилась в уверенности, будто мы жили лучше всех, не замечали ни нужды, ни бедности. Теперь начинаю постигать, как мы себя обманывали. Но мы слушали, что нам говорили, и всему верили. Белла тоже признала, что там многому верила. И смеялась, что тут среди наших бабок кого ни спросишь, все были диссиденты.

В другой раз мы обсудили с Беллой маленький эпизод из моей прежней жизни. Когда у меня родилась младшая дочка Лиза, то необходимо было почти каждый день покупать молоко. Как-то чуть ли не с самого утра я заняла очередь на разливное молоко. Стоим и ждём эту бочку с молоком на улице. И вот привозят молоко, все обрадовались, а продавец объявляет, что молоко будет 1% жирности, т. е. совсем жидкое, снятое, вроде как вода. Я опечалилась, но молчу, другие начали ворчать, мол, разводят, наживаются. А потом одна женщина из середины очереди решительно заявила: зато всем хватит! Я тоже тогда про себя подумала, что «зато всем хватит», ничего потерпим и успокоилась. Так мы всё и терпели и терпим. Приспособились к страданию.

— Тут нет такого терпения, как что не так — так в суд, — резюмировала Белла. Тут столько законов, по каждому случаю закон, споткнулся в магазине, хорошо, — платят тебе денюжки, забрызгали тебя краской, замечательно — новая шуба, облили в ресторане горячим кофе — миллион тебе. Всегда ты под защитой, как за каменной стеной.

К моему огорчению, Белла переехала в Нью–Йорк, её сын там нашёл работу. Мне без неё стало одиноко, не с кем стало проводить время, некому мне поведать о себе.

Тут я больше узнаю о политике, чем знала. Клинтон нравится, весёлый, говорят, что он прохиндей, а мне приятно на него смотреть. Наши-то хапуги какие! Можно быть подлецом, но не потерять чутья о чести.

Завели мне собственный счёт в банке, моя пенсия прямо туда поступает, и у меня есть свои чеки, которые я могу выписывать. Был как-то раз со мной такой случай. Я пришла в банк за деньгами и отдала чек, который я сама выписываю по образцу, написанному Машей. Стою у окна, отдала чек, жду денег. Кассирша куда-то ушла, через время вернулась с мужчиной, денег мне не даёт, и на меня ему показывает. Что, думаю, такое? Крутят мой чек в руках. Ещё подошёл мужчина, такой солидный, тоже покрутил мой чек и что-то сказал. Вижу, как через стекло зовут полицейского, который тут в зале всегда стоит, и чего это, думаю, такое я написала в этом чеке? Полицейский вдруг по–русски, с акцентом, как скажет: «Пани запутала чеки, даёт старый чек, по которому доллары уже выбрала». Я так растерялась от полицейского, не то, что он меня в тюрьму заберёт, а оттого, что по–русски говорит. Другой чек нашла, отдала вместо оплаченного, получила деньги, поблагодарила пана полицейского и ушла. Видно, из поляков.

Денег хватает с лихвой. Дочь мне всё говорит: трать, не жадничай, наслаждайся, а мне непривычно всё на себя расходовать. Вот тебе туфли за сто с лишним долларов! Да мне ведь такие туфли будет жалко носить! А мои всё рассуждают, что Конфуций предупреждал людей, что в старости самое страшное качество — это жадность. Что когда после всей жизни остаются приятными только денежные знаки, то человек становится такой неприятный. Что жадный человек ничего отдать не может — ни денег, ни таланта. Может, оно и так, но как-то спокойнее жить, когда деньги есть, вот я откладываю то, что у меня остаётся, в сумочку. У меня такая маленькая лакированная сумочка висит в шкафу, я туда наличные деньги и складываю. Иногда пересчитываю. Конечно, в нашем доме много есть жутко жадных, скупых до помешательства, как я уже говорила, Плюшкиных. Один дед на лавочке рассказывал, как он умудряется экономить, что ему удается ничего почти не тратить на себя, как он ограничил все свои расходы, как он бесплатно обедает, как ничего не покупает, всё ему дают, дарят, а все свои деньги откладывает, сказал, что уже порядочно накопил. А для чего? На чёрный день. Самому под девяносто. Куда чернее? Просто скряга. Я ещё до такой степени не обжадничалась. Но чувствую, что есть какой-то механизм внутри, который успокаивается, если есть деньги. Раньше я этого не ощущала.

Жаль, языка не знаю — вот беда.

В нашем садике я сидела и рассматривала как голуби, расталкивая маленьких птичек, ели набросанный для них хлеб, хотя и кормить их не разрешается, но некоторые кормят и я,

признаюсь, тоже. «И голубь ест из рук моих пшеницу»… Нет, нет да принесу им или белкам оставшиеся ленчи. Нам бесплатно их пять раз в неделю раздаёт один негр. Что дают? Курицу, иной раз тёплую, нежную, пюре из картофельных перьев, которое я не очень-то люблю, банан… Сижу одна, на улице нет никого. Увидела проходившего мимо мужчину, он посмотрел налево, направо и вдруг направился прямо к моей скамейке с намереньем посидеть. Ну, думаю, и зачем ему нужно тут рядом со мной располагаться. Хотела сразу встать и уйти, но потом решила, что я как дикая какая, посижу, поговорю. Мужчина такой выразительный, представительный, хотя и невысокого роста, в шапочке. В лице что-то необычное, азиатское, слегка раскосые миндалевидные глаза. Лицо не скажешь, что простое. Одет он был в яркую куртку, прямо— таки американец. Он подсел ко мне на скамейку. «Можно я с вами посижу?» Сказал что-то про белок: «Посмотрите, тут белки людей не бояться, из рук можно кормить». — «Да, я тут видела, как машины останавливаются, чтобы белок пропустить». — «А вы смотрели вчера по телевизору, как полицейская машина сопровождала семью гусей с гусятами, когда они заблудились в городе? Это дикие канадские гуси…» Разговорились. Он, оказывается, тоже в нашем доме живёт, на первом этаже, показал окна, приехал из Самарканда. И тоже бывший преподаватель, правда, в техникуме, какую-то сложность математическую преподавал. Признаюсь, что я очень удивилась при прощании, когда он сказал мне, что ему было приятно со мной познакомиться и поговорить. Моё имя он сразу запомнил, Даша, говорит, а я и никакого внимания не обратила, как он представился. Прозвала его про себя «самаркандский еврей».

На другой день я нарочно не пошла сидеть на лавочке. Как-то стеснялась, чуждалась. Дочь засмеялась, когда я ей рассказала про встречу, говорит, может, у тебя роман будет? Поклонник, говорит, завёлся! И совсем меня напугала. И хотя мы с ней часто смеялись, как я уже говорила, насчёт одноногих и криворотых женихов, но это просто так ради смеха. Какие романы? Какое ухажёрство! Посмотрю на себя, конечно, лучше многих бабок, но возраст!

Проходит неделя, другая, прохожу мимо окон «самаркандского поклонника» никого не видно. На третей неделе встретились около почтовых ящиков. Я поздоровалась, чувствую, что покраснела, не знаю, что и говорить. С какой стати я так разволновалось, будто между нами какие-то отношения. Ну, старая!

А он мне говорит:

— Что-то я вас, Даша, давно не встречал. Как вы себя

чувствуете? Белок, что-то не ходите кормить…

— Я ничего, спасибо, живу.

— Тут экскурсия намечается в Нью–Йорк, не хотите ли записаться?

— А когда? Нужно спросить у дочки, может, и соберусь — ответила я просто так. Даже не знаю как к нему обратиться. Забыла, как зовут.

— Можно я вам позвоню?

И позвонил:

— Даша, это Феликс. Вы надумали ехать?

Я ещё не обдумала предложения и при его звонке сделалась ни жива, ни мертва, поджилки затряслись. Язык не слушается, ничего выговорить не могу. Наконец, после некоторого молчания, собралась с умом и сказала:

— Да, я хочу поехать. Записалась в это путешествие.

В автобусе мы сидели рядом, я старалась меньше говорить. Почти совсем отвыкла разговаривать с мужчинами. Боялась сказать какую-нибудь глупость. Всё больше он рассказывал о себе. Поведал о своей жизни. Был женат, жена умерла, русская была, блондинка, есть сын, у которого сейчас свои дети… Смотрела за окно, но не видела никаких живописных окрестностей. Нью–Йорк тоже промелькнул, как метеорит. Как быстро прошло время, как я вернулась домой, не знаю, будто во сне. Очень жаль, что я не всё могу припомнить. Я была какая-то отвлечённая, ничего не думала, смотрела, слушала. В жизни своей уже не припомню, чтобы мне так приятен был незнакомый человек.

Всю ночь ворочалась с одного бока на другой, странные явления приходили на ум, воспоминания, показалось… вдруг пригрезилось, что я молодая и радостно бегу по заливному лугу… По утренней росе. Приятные видения, прекрасные иллюзии проходили перед глазами, такие, каких никогда и не было в действительности дня. Причудилась сцена : я в длинном воздушном гипюровом платье играю концерт в светящемся, солнечном зале. Звуки, как искры, летят по воздуху. И кажется, я сливаюсь с этой музыкой. Меня уже нет, каждый звук это я, и несусь куда-то в небеса. Чувствую, как будто кто-то находится рядом. И привиделся мне этот самаркандец, и мы держимся за руки. Вот уже вместе играем. Я наклонила голову на его плечо и задрожала. И тут я испытала сладость ни с чем не сравнимую. Проснулась. Себя не могу узнать. Блаженство волшебного сна меня изменило, хотите верьте, хотите нет, появилось внутри лучезарное сияние — захотелось жить. Может, я неправильно передаю это чувство, но, казалось, изнутри кто-то шептал: «Живи, живи!» Неужели это я? Что это?

Прошла неделя. Я вся в волнении: придёт, не придёт? Самой смешно, что так встревожилась, совсем, думаю, старая, с ума сошла. Что такое? Была всегда тихая, робкая, незаметная, ничего из себя не воображала, и что это вдруг не вылезает из головы? Бес обуял?

В тот понедельник был какой-то американский праздник. Раздался стук в дверь. Я подошла и, отворив дверь, отступила назад: стоит он с букетом тёмнопунцовых гвоздик. Я сконфузилась так, как будто меня застали за чем-то нехорошим, а ведь сидела в этот час и читала. Отчего же я пришла в такое замешательство? Отчего не знаю что сказать, куда деть руки, куда смотреть? Стою несмелая, робкая, онемевшая.

— Проходите, садитесь! Пробормотала, что не убрано, хотя Фира только сегодня наводила порядок.

— Мне нравится ваша обитель. У вас уютно, кругом цветы, — произнёс он, а я взяла в руки принесённые им тёмно–пунцовые цветы, они коснулись моего лица и как будто обожгли меня. Пошла в кухню к водопроводному крану, думаю, сбрызну их и поставлю в вазу. Вода льётся мимо, цветы в вазу не запихиваются, рассыпаются. И как их пристроить? Как угомонить эти гвоздики? Капли сверкают на них, как слёзы. В самом деле, что это я так переполошилась? Может быть, журчащий шум от брызг скроет моё волнение? Я и представить себе не могла, даже в мечтах ничего не думала… Возможно, чтобы так взволноваться? Как хмельная. Престарелая Лолита! Мне вдруг стало стыдно. В самом деле в какую-то секунду я захотела, чтобы он ушёл… сама не знаю, почему? Отогнала от себя эту мысль. А капли текут по хрупким стебелькам и лепесткам цветов. Нет, это роса, не слёзы. «Не думай ничего негативного». Или сон меня как-то переменил, или влияние Америки, дочки, внучки или чего? Внезапно я внутри переменилась. Вытащила из шкафа бутылку коньяка, который мы с Беллой не допили, и, вернувшись из кухни, вдруг безотчётно для себя сказала:

— Феликс, я вас ждала.

А сама букетом прикрываюсь, будто хочу понюхать цветы, и сквозь головки цветков с холодными капельками росы искоса гляжу на него. Мне показалось, что он слегка смутился. Поставила вазу на стол, принесла рюмки и коньяк, и букет оказался между нами. Я отодвинула его на край столика, но время от времени взгляд приковывается к этим тёмно–пунцовым цветам. Они освещаются светом от лампы, искрятся и лепестки отбрасывают игольчатую тень. И никто не поверит, что цветы давали мне успокоение, какую-то уверенность. Посмотрю… и на душе спокойнее. Нет, не слёзы, а роса. Такая роса бывает по

утрам на лугах, — думаю про себя.

Феликс тем временем рассматривал фотографии, стоящие у меня на письменном столике.

— Вы такая красавица! Вы были очень красивы в молодости, но и сейчас ваше лицо прекрасно, — слышу я его спокойный, приятный голос. Мне никто никогда не говорил, что я была красивая, не принято было! Так нас воспитывали, чтоб не зазнавались. Теперь-то я вижу, что и правда, — наши женщины не хуже ихних американских, только вот беда, не хватало нам ухода, хорошего гардероба и собственного возвеличивания. Только тут в Америке до меня дошло, как это важно. Я, однако, с самой молодости всегда лицо тёрла суконной тряпкой или мочалкой, и может быть, потому у меня морщин мало, моложе, говорят, выгляжу и, бывает, не верят, что у меня такие взрослые внуки.

Мы сели за стол и после того, как выпили по капельке коньяка, приступили к чаепитию. Я поставила свои любимые чашки из тончайшего китайского фарфора, переливчатых цветов, купленные Леной в антикварном магазине, вместе с чайником, на котором был выписан зелёный дракон.

— Какой вы любите пить чай? Заваренный в чайнике или разлитый по чашкам в готовых мешочках? — спросила я.

— Мне будет приятнее, если вы приготовите чай сами, — ответил Феликс. Я захотела моментально исполнить его просьбу, слишком круто повернулась, чтобы достать драконовый чайник, и задела локтем стоявшую возле меня чашку. Она разбилась. В растерянности стою над переливающимися осколками, и не то, чтобы мне её было очень жаль, а просто огорчаюсь от своей неуклюжести.

— Я такая неловкая… Замолчала.

— Не тяготитесь, Даша. Это к счастью, — сказал он и наклонился подбирать осколки моей оплошности.

Не могу забыть той минуты, когда он подобрал осколки бывшей чашки, бережно их сложил на столе и, стоя на одном колене, посмотрел на меня. Глаза у него были глубокие, вдумчивые, ясные. Взгляд тихий, ни лукавства, ни надменности. По глазам ведь человека видно, как кто смотрит. Он сел перед столом на маленькую скамеечку напротив меня и взял мою руку.

— Даша, у вас добрые голубые глаза. Вы сохранили чистоту своего сердца, и все такие люди кажутся всегда гораздо моложе своего возраста.

Я вздрогнула, лицо моё похолодело. Что ты будешь делать? Я потеряла все силы говорить, онемела. Я ничего перед собой не видела, не слышала и на какое-то время исчезла. Как из небытия я увидела ясно только лампу с красными и зелёными узорами.

Всё пошло в голове крутиться… красное и зелёное, как в моём сне. Был вещим этот сон? Я перепутала внутри себя реальность и фантазию. Уж не помешалась ли я? Подступило отрадное чувство, не похожее на те, которые всю жизнь переживала. Я не имела опыта в отношениях и чувствах и просто совершенно замерла в этой отраде.

Он стал спокойно рассуждать о том, как ему хорошо со мной, как не хочется уходить.

— Вы любите петь?

Я умоляюще посмотрела на свою маленькую фисгармонию, думаю, сейчас придёт спасенье, спою что— нибудь, ничего не нужно будет говорить. Я подошла к своему маленькому инструменту и запела.

Пусть я с вами совсем не знаком, и далёко отсюда мой дом…

Слышу, что он тихонечко подпевает… «Так скажите хоть слово — сам не знаю о чём?»

Можно ли завтра зайти? — Может, отговориться? Стою, не отвечаю ни одного слова. Потерялась совершенно, подняла глаза на букет — ни росы, ни слёз — вся вода уже испарилась. И вдруг сама от себя не ожидая, произношу:

— Милости прошу! Феликс, я буду рада.

В тот вечер я долго не могла успокоиться… Вспоминала стихи и строчки Пушкина: «О, кто б немых её страданий в сей быстрый миг не прочитал?» Ахматовой: «Я на правую руку надела перчатку с левой руки». — Я и без перчаток растерялась. Всю ночь лежала с закрытыми глазами и не могла уснуть. Много картин проходило перед глазами. Слова Леночки шептала про себя: «Мама, все себя переоценивают, а ты наоборот, не понимаешь своей ценности. Ты умная и красивая. Ты должна лучше к себе относиться». Как? Что сделать для этого? Как удержать в себе это отрадное состояние?

Через день Феликс пришёл с двумя чашечками на ножках, поставил их рядом и сказал:

— Эти чашки так и будут всегда стоять рядом. А мы из них будем всегда пить чай. Так просто и убедительно, он это сказал, что я только улыбнулась.

Наступил настоящий перелом в моей жизни. В течение полугода моё существование полностью изменилось: я подружилась с Феликсом. Я всю мою жизнь ждала какого— то изменения, хотя мне казалось, что у меня и не было возвышенных мыслей. Я почувствовала на себе действие, уж не знаю, как и выразиться, прекрасного отношения, в чистом виде, и его безмерная доброта меня будто растопила. У нас возник братский союз. Произошло чудо: каждый день стал как праздник. Почти

каждый может почувствовать, как из доверия и понимания вырастает новая, молодая душа. Всё настолько было неожиданным, насколько и непонятным, ни с чем не сравнимым состоянием.

Вместе с дочкой я купила себе два платья, одно в самом дорогом магазине «Блюминдейл» из натурального шёлка–сырца, зеленовато–коричневого тона, и другое в комиссионном бархатное фигаро синего цвета. Даже от Маши я получила поддержку и одобрение:

— Бабушка, ты теперь можешь в Голливуд ехать, какая ты у нас стала нарядная и красивая. Давай только переменим бусы, эти к этому наряду не подходят. Сюда лучше надеть ожерелье из кораллов. — Так сказала мне Маша, когда я первый раз в жизни вырядилась в заграничные шелка, и смотрела на себя в зеркало. Я расправляла складочки на юбке, погладила тёмновишнёвые бусины кораллов и слышу: «Бабушка — влюбилась!» — Бабка очумела — подумала я.

Юная бабушка!
Кто целовал
Ваши надменные губы?

Теперь бабушка и концерт рэпа готова посетить. И тебя, бабушка, можно в другой век перенести и ничего не изменилось бы!

Я и правда, другой становилась, и чем более я задумывалась над происходящим, тем более поражалась себе. И кто бы мог подумать, что из моего душевного дна подымутся новые чувства и всё так изменится. Я с Феликсом вдруг разговорилась, все слова разом стали выходить из меня. Иногда сама себя перебивала, задерживалась на разных мелочах, путалась, но зато от всей души говорила обо всём. Все забытые воспоминания всплывали, припоминались тысячи подробностей моей жизни.

Я рассказывала ему о нашей деревне Непложе на реке Проне, притоке Оки, где остался родительский дом, как замирала, вдыхая запах заливных лугов, когда после того, как учебный год проходил и наступали летние каникулы, мы всей семьёй отбывали туда на отдых. На станции нас встречал сосед Вася на двух лошадях, впряжённых в телегу. И с этого момента, как в непрерывном сне, начиналась спокойная, светлая, тихая деревенская жизнь. Сельская дорога идёт по полям, мимо церкви, огибает реку, а в воздухе такой запах свежего сена, что делаешься пьяной. Потом дорога уводит вглубь заливных лугов, переливающихся, как серебряный океан. Со всех сторон птицы

заглушают друг друга, то одна выскочит из травы и так зальётся, то другая. В солнечных лучах мошкара клубится, и воздух дрожит, и вся земля, кажется, звенит и замирает в этом звоне.

Я отсюда вижу, как возле нашего палисадника уже толпятся дети и ждут гостинцев. Они окружают нашу телегу и будто навечно застывают в позах, выражающих любопытство. Я достаю гостинцы — сушки, баранки, конфеты и раздаю. Немного осмотримся, и подходят деревенские бабы и мужики с приветствиями и интересами. Наговорят разных историй досыта, и ни радио, ни телевизора не надо. Поинтересуются: не помочь ли чем? Даже хромой Костя придёт. А по вечерам около дома многочисленное собрание играют в карты, поют, беседуют. Но больше всего я любила ходить в лес за грибами, по росе, на рассвете, когда на небе появляются лёгкие прозрачные полосы. Идешь по просеке, будто по дворцовому коридору, обрамлённому куполообразными елями, усеянными блестящими каплями росы, с играющими в них лучами восходящего солнца. Как поднимешь тяжёлую ветку ели, стряхнёшь с неё все капельки алмазов, и там сокровища, — семья белых, крепких, нарядных, чистых, хрустящих. Наберём по целой корзине этих обольстительно–свежих даров из-под ёлок, и на душе тепло. А тут и грибов никто не собирает. Когда внуки увидели, как я около озера набрала несколько подосиновиков, то они такого наговорили, что лес поливают всякими химическими веществами, и что нельзя есть эти грибы, а лучше купить в магазине. Петя сказал, что тут есть специальные грибные клубы, куда нужно вступить, чтобы всё было научно, обосновано — нашёл гриб и неси на комиссию. Скучаю только по деревне, хотя со временем уже многих нет. И грустно будет сейчас туда вернуться, смотреть на опустевшие избы, мало кого там я сейчас встречу из своих бывших знакомых. И молодые тоже поразъехались, никто уже не хочет жить в деревне. Я вам скажу, что сейчас я даже и не рвусь туда, отошло, но иногда подступает…

Как приехала в Америку, то сразу попросила своих показать мне американскую деревню. Сколько они мне не показывали деревень, — все они не отличались от дочкиной улицы. Везде: Макдональсы, пиццы, музеи, собрания магазинов, асфальтовые дороги и никакого различия между городом и деревней я тут не обнаружила. В одной из так называемых деревень под столицей Олбани, кажется, она называлась Вудсток, было шумнее и балагурнее, чем в любом городе. Там такой стоял на улицах карнавал, столько раскрашенной художественной публики, бывших хиппи, как сказал Петя, что происходящее в этой деревне в сто раз суматошней, чем в самом Нью–Йорке, разве что без

окружения небоскрёбов. Галереи, толпы, скоморохи, музыканты с барабанами на каждом углу, рестораны, в одном из которых мы пообедали и поехали в свой тихий город. А настоящей деревни, куда не заезжает ни одна машина, и где бы не было автоматов с кока–колой, без всякой цивилизации, я так и не видела. Тут везде «обустроенная» и своеобразная Америка, ни город, ни деревня.

Часто мы говорили о нашем поколении, которому пришлось столько пережить. Добровольцем, совсем мальчишкой семнадцати лет, он пошёл защищать наши идеалы. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» До сих пор эти слова задевают за живое. Все мы искали иллюзии, и не хотели ничего материального, мы не так рассчитывали, как наши американские внуки. Что интереснее? Феликс говорил, а я слушала. Я стараюсь припомнить в точности, как он размышлял, и записать его мысли. Он рассуждал, как мы были погружены в красоту иллюзий, и как перед нами заволакивался мир страданий, а новый мир надежд захватывал светлым блаженством. Я не скажу, что мы чувствовали себя одинокими, заброшенными, несчастными, мы были в отрадной иллюзии, в мечтах. Кто счастливее? Кругом считали, что нельзя рассматривать себя, как отдельного человека, а только всех в целом. Может быть, кому-то удаётся с сызмальства отделить себя от всех, от коллектива и общества, но я никогда о себе ничего не думала и считала себя как все. Со всех сторон доказывали, что нужно жертвовать собою для всех, и я жертвовала и, по словам дочери, самой себе ничего не осталось.

Чтобы быть в состоянии жить, через мечту мы оправдывали своё существование. Вот что было! Мы жили не для себя, а для идеи, как сейчас понимаю. И наша иллюзия погибла, как противоречие, как конфликт, она покончила самоубийством. Трагически, как говорят профессора.

Да, я была раб иллюзии, хотела быть, как все, и была в точности. Как вспомню о Сталине, неприятно. Феликс рассказал как он в 53 году отдыхал в Гаграх в санатории «Гребешок», по легенде одна из великих княжен потеряла на пляже гребешок, отделанный брильянтами, с тех пор его не могут найти. В какой-то день главный врач санатория пригласил Феликса поехать в горы, они сначала поехали в сторону Хосты, потом свернули налево, и через небольшой туннель оказались на прекрасной асфальтовой дороге, с маленькими гротами по краям, что это такое? Это блиндажи для охраны, оказывается, врач приготовил сюрприз — они ехали на бывшую дачу Сталина. Феликса поразила скромность дачного помещения и масса книг, в которых были закладки. Книги по истории, строению Вселенной, философии, и особенно много книг про римских императоров. Из

роскоши он отметил только водопровод с морской водой.

Для каждого из нас он был как бог! Мы воздавали ему божеские почести. Я думала, что он замечательный, мудрый, добрый. И детям это преподносила. Я же не знала, что я вру. Все люди, окружавшие меня, верили в то же самое, что и я. И не было ничего сильнее нашей веры. И вот что оказалось. Теперь только узнала, что другие про его смерть, подумали: «ну, слава Богу, кончилась тирания» — и вздохнули с облегчением. Я тогда таких людей не знала. Феликс, помню, сказал, что многие сейчас произносят все гадости о Сталине, чтобы отделить себя от его преступлений.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…

— Но только тем, что скажешь, «Сталин — палач, убийца», — себя не оправдаешь перед будущим. Все мы сливались воедино своими желаниями построения прекрасного и не хотели ни видеть, ни слышать о преступлениях, и должны разделить вину.

И хотя некоторые его соображения, мнения, взгляды сразу не понимала и не принимала, но чувствовала в его словах что-то настоящее. В молодости я не подозревала обмана, на тёплом доверии к людям строила свои отношения.

На Новый год и на Рождество я нарядила небольшую ёлочку, да такую стройную, будто её у кремлёвской стены срезали. Ведь здесь, что удивительно, все до одной елки, что продаются, одна пушистее другой. Почему же наши-то елки такие ободранные, обглоданные, кривобокие? Ведь лесов-то сколько! Я все в толк не возьму. «Елки–палки специально выращиваются для наших людей», — иронично сказал Феликс.

Я люблю смотреть, как украшаются в это время домаˆ и Петя, у которого были каникулы, решил показать нам с Феликсом рождественское убранство города. Снега нет, но все улицы в Рождество утопают в ослепительных сияниях. И это от сияния такое праздничное настроение? В нарядах из кружевных огней стоят деревья, будто муаром окутаны.

А дома опоясаны гирляндами из зелёных веток, перемешанных с золотом. Один мужик, что заслужил первую премию по украшению дома, устроил из электрических лампочек переливающийся водопад. Просто Ниагарский. Звонят колокола, толпится народ, в эти дни церкви особенно торжественны.

— Вон как шпиль блестит! Давайте остановимся и заглянем в американскую церковь, — попросила я, — я так давно не была в церкви. Когда вошли во внутрь, мне сразу бросились в глаза

высокие своды, без конца и без окончания уходящие в небеса: нет потолка. Аж дух от высоты захватило! В центре этого необъятного пространства висела люстра на длинном серебряном канате. Потом я обратила внимание на пол, уставленный большими скамейками, и на стены, декорированные растениями. На церковных скамьях сидели люди, перед ними на мраморных консолях стояли подсвечники со свечами и были разложены книги. На сцене, там где должен быть алтарь, священник или проповедник без всякого специального облачения, не в рясе, а в простом сером пиджаке играл на гитаре. Он вроде бы стихи читал и все за ним повторяли. Псалмы? Или что? Как в концерте или в организации. Но до чего интересны громадные окна с витражами! И я всё больше их рассматривала. Сквозь витражи просвечивал багровый свет, как будто внутри стёкол плясали факелы. Промелькнуло, как меня маленькую водили в Рязани в церковь, и как там звуки пения возносились к сводам, и как последняя нота набегала на ещё не замолкнувшие отголоски первых.

— Почему никто не попрошайничает? Я на ступеньках не видела нищих, — спросила я Петю, когда вышли из церкви.

— Бабушка, помогать нужно духовному облику, а не материальному. Милостыня — это разврат, — произнёс Петя, будто обличая меня в чём-то плохом. — Протестантская христианская церковь поддерживает духовный облик в человеке, а не телесные потребности.

— Петя, я совсем не знаком со службами, но мне кажется, что в русских церквах есть мистика, тайна, загадочность, а вот западные будто клубы? Что ты скажешь об этом? Или это так кажется? — расспрашивал Петю Феликс.

— Не всё так просто с трудом и небесами. Мистика у русских есть, а вот на вопросы, как соединить мистику с жизнью, русская церковь не отвечает. Даже, наоборот, считается, что богатеть — это грех.

— Да, у нас так и считалось: разбогатеть — стыдно, богатые — плохие. У нас мистика смешалась с ленью, и этого оказалось предостаточно, — поддержал Феликс.

— Может быть, потому и произошла в России революция, что коммунисты обещали счастье на земле, соединить возвышенное и материальное. Лютеране говорят, что Бог требует от человека реализовать себя в материальном мире. У основателей протестантизма Кальвина и Лютера было много мистики, но у их последователей таинственность выхолостилась. Знаете, Феликс, думается, на Западе произошла Реформация, а в России революция.

— Петя, у тебя много учёности. Ишь ты какой, всё как

представил, — сказала я.

— У древних еврейских пророков, — перебил меня Феликс, — тоже награда была только на небесах, но талмудисты потребовали реализации себя в жизни.

— Поэтому не скажешь, что евреи бедные, — вставила я.

— Петя, а вот твоя приятельница Катя, у которой отец украинец, он с немцами ушёл, тоже считает, что в Америке богатые — это плохие люди. Помнишь, она рассказывала, о том, как жила в коммуне в городе, забыла как называется, там где Гарвард расположен, что в их коммуне главный организатор держал ресторан и кормил бесплатно бедных людей. Она говорила, что он образованный, что у него целая база данных, как в Америке много бедных и как богатые наживаются за их счёт. Катя ещё хотела, чтобы вы все встретились и послушали его аргументы. И уж было собрались его пригласить, дискуссию устроить, но в это время началась война с Хусейном. А уже после этой войны Катя пришла и вот такое рассказала: Их коммуна запаслась водой на случай затяжных военных дней. Я, помню, удивилась, что такое бывает в Америке, чтоб такая паника поднялась? Катя ответила, что да, многие запаслись водой. Они поставили канистры с водой на балкон, и этот ихний главный коммунар пошёл посмотреть, сколько воды, и потом прикрыл одеялом все запасы. «Почему? — спросил зять у Кати. — Ему что, было стыдно?» — «Нет, — сказала Катя, — он не хотел, чтобы соседи попросили воды».

И пронеслись воспоминания, как во время нашей большой войны у людей открывались лучшие стороны души. Может быть, потому, что война… Пустой чай. Расколотая на дрова мебель. Я тогда встретила много хороших людей, сочувствия, доброго отношения. Как бы сказал мой отец, люди вспомнили «великую заповедь любви».

После того как мы проехали дорогой смерти через Ладожское озеро и оказались с матерью и сёстрами в Таджикистане, в Коканде в эвакуации, на всю жизнь запечатлелось, как две молодые учительницы, татарка Раиля и Зоя, отдали мне каждая свои пол–ставки, чтобы я кормила дочку и мать. Как на пересадке в Москве, в полной суматохе и толкотне на Ленинградском вокзале, я потерялась со своей попутчицей Галей, у которой осталась моя корзина со всем продовольствием, тёплыми вещами, и она меня отыскала уже на Казанском вокзале и вернула мне багаж. Уж не говоря о том, что золовки отдавали нам своё пропитание… Конечно, это была не игрушечная война, и вместо запасов воды нужно было запастись мужеством, терпением и добротой.

После Катиного рассказа мои решили не приглашать этого защитника бедных на дискуссию. Так рассердились и удивились.

— Ничего себе американский коммунар! Ну, в точности один к одному, как наши, — закончил нашу беседу Феликс.

И чего только в этой Америке нет! Я много чего узнаю здесь. Я сейчас вижу, что жила наощупь, впотьмах, не знаю даже почему? — прежде я некоторых вещей и не предполагала. Я и думать не думала, что так изменятся мои представления о людях, о жизни. Как у нас говорили, я никогда не любила «в себе копаться», и вдруг с Феликсом стала «развиваться», спрашивать себя: как и почему? Откуда и куда? Мне и не снилось, что я смогу оглянуться на себя, что задумаюсь над своими отношениями, что вздумаю в себе и в других копаться и, как говорит Петя, начну приходить в сознание.

И почему только сейчас в этой новой стране я открываю для себя? Может, вместе с возрастом приходит мудрость? И всё переворачивается во мне вверх ногами. «Всё, говорит Петя, основано на разуме…» А я, думаю, на натуре. Тут ничего не поделаешь, такая родилась. Натура такая. Разве можно переродиться? Они мне всё твердят: ты должна стать личностью! Если меня никто не обучал, мои предки были такими же, то как я могу «стать личностью» в один прекрасный день, если я уже без личности? Какой меня первоначально сделала природа, такой я, видно, нужна была. Но точно я уже ничего не знаю.

Как трудно из книг научиться тому, что своими глазами не увидишь и не переживёшь.

— Феликс, ведь я и в России читала Достоевского «Записки из мёртвого дома», но как-то так по обязанности. Помню, что он долго запрещён был в школах, потом разрешили факультативно. Я все преподавала по разработкам, что присылали из Роно, ничего сама не придумывала. И только сейчас убедилась, что понятия никакого не имею ни о Достоевском, ни о Гоголе. Ведь стыдно сказать, учительница литературы! И всё совсем не так представляла. А тут после госпиталя у дочки перечитала заново, и диву далась, как глубоко, мудро, даже прослезилась. Всё подступило. Подумайте, в Америке читаю про каторжных в царской России — и интересно. Всё предсказал: и про революцию, и про нас, «лакеев чужих идей». Вот как Достоевский людей видел.

Я в России была довольна людьми, для всех было открыто моё сердце, а сейчас вижу, как люди завидуют, хочется, чтобы тебе было похуже, чем ему. Как черствеют люди с возрастом, диву даюсь. Нет симпатии у людей к друг другу… Может, я просто раньше этого не замечала?! Я не могла вообразить людей такими

неблагодарными. Мне казалось, что Гоголь откуда-то с другой планеты брал своих героев. Все говорили, что он сумасшедший. А теперь я не перестаю удивляться, что он людей-то с натуры списывал.

— Да, Даша, мы сумасшедшие, а не он. Во второй части «Мертвых душ» весь наш коммунизм показал. И с каким проникновением. А в романе «Бесы» наши вожди и их взаимоотношения. Как они подозревают, как убивают друг друга. Я тоже не предполагал, что многое так. Говорили так презрительно: «Это — достоевщина». А это ведь жизнь, Даша!

Так пронеслись «наши» три года с Феликсом в беседах, чаепитиях, прогулках, путешествиях. За это время о чём только мы с Феликсом ни переговорили! Обсуждали прочитанные книги и происходящие события. Меня изумляло, как я так открыто и свободно себя с ним чувствовала, не смущаясь никакими предрассудками.

Я иногда пела и любимые песни, и частушки, особенно Феликса рассмешила такая:

Мине милый говорил:
Милка, ты неважная,
Я ж красивый, развитой,
Меня полюбит кажная!

Я подхожу к финальной части моих записок. Феликс был смертельно болен. У него обнаружилась прогрессирующая желудочная болезнь, и не было никаких надежд на его выздоровление.

Я была при нём, когда он сидел в кресле, он предпочитал кресло и сидячее положение. Так хочу всегда сидеть возле него и с радостью выполнять его любые пожелания. Принести воды, соку, поправить плед, которым укрывались его ноги, включить или выключить кондиционер. Я готова была целый день и ночь находится возле него. Я читала ему вслух «Анну Каренину», хотя я видела, что он почти не слушает, а дремлет. И я тихо–тихо продолжаю читать, чтобы не разбудить.

Как сейчас вижу, всё передо мной. Он пожал мою руку, когда я принесла ему тёплый чай с лимоном. И я услышала: «Даша, вы милая, кроткая, и я никогда не встречал такой нежной заботы. Я окончу свою жизнь в любви. Я благословляю минуты, проведённые с вами!» Как ценны мне были его слова!

У меня нет никакого опыта в описаниях, но те, кто испытывал каждой клеточкой охватившее блаженство, тот поймёт меня. Я улетела за пределы комнаты, страны, мира. Ветер принёс запах

сосен, которые протягивали свои ветки прямо в окна, и только одни были живыми свидетелями моего неземного настроения. Я хотела заболеть, лишь бы он выздоровел и перестал страдать. Он сказал мне на ухо: «Дашенька, мой друг, вы украшаете мои последние дни, я благодарен Богу, что он вас прислал… Я вас люблю…» Он сжал мою руку, и невольные слёзы полились из моих глаз. Я уже ни о чём не думала, ни о возрасте, ни о стыдных слезах любви. Я поцеловала его в щёку и почувствовала, что я готова умереть вместе с ним. В это мгновение видела себя и его, неведомой силой поднятыми и летящими над… над горами, долинами… Куда? Не знаю… Что это? Моё счастье? Всё оказалось в нём. Я, молодая старуха, которой удалось пережить минуты блаженства, я могу умереть.

Новой, неведомой, странной показалась мне моя жизнь, когда я очнулась, и что-то совсем незнакомое появилось во мне. Тайна. Кому сказать, что будто не жила я больше полвека, всё было какое-то ненужное, мелочное, ничтожное. Показалось, что вся моя жизнь была, как приготовление к этому моменту. И вот одно мгновение перевернуло меня наизнанку. Зачем? Всё, казалось, умерло, все чувства были золой, и вдруг такое преображение. Я вдруг поняла общность жизни всех людей, общность веры и страданий.

Я сейчас думаю и думаю об этом. Может, для того что теперь я не боюсь смерти, я примирилась с ней. Мне не страшно умирать, я закончу своё земное существование спокойно. Я знаю, что есть тайна, непостижимая тут, в этой жизни. И есть ещё и другая тайна, мистическая, которая открылась мне на закате моей жизни.

— Прощайте, Феликс, — тихим голосом сказала я. — Я буду всегда вспоминать вас. Я вас люблю… И всё вдруг исчезло в спокойной тишине, я не плакала, мне только хотелось, чтобы он расслышал мои слова, и я увидела по его глазам и мелькнувшей улыбке, что он их услышал. В узкую щель чёрной занавески проник луч света, он протянулся прямой линией и остановился, замер на стене, я тоже замерла и тихо смотрела, и, не помню через сколько времени, отдельные предметы, те что могли принять свет, стали освещаться, и в комнате стало светло. Я открыла окно, восходящее солнце виднелось сквозь сосновые ветки.

Что я почувствовала после его смерти? Что происходило в моём сердце? Тихая вечерняя грусть. Я присутствовала при его последних часах, приехал сын… Каких только людей ни уносит время!

А я думала, что ничего больше не будет… Случилось, как в

сказке: принц нашёл свою принцессу, правда, уже под вечер, осенью. Вечером благоухающей осени. «Люблю я пышное природы увяданье… Унылая пора — очей очарование… В багрец и золото одетые леса…»

Дальше уже не будет ничего. Или уже всё не будет так, как было. Я смотрела на глобус, который мне подарили дети, чтобы разгадывать кроссворды, погладила одной ладонью Россию, второй Америку, обняла его двумя руками, подержала в объятиях и подумала, что везде есть жизнь.

Когда вошли внуки, я ещё разглядывала очертания других стран, в которых никогда не была. В них всё тоже самое? Города, деревни, дым, печали и любовь.

Неужели ты дашь это кому-либо читать?